# Валентин Берестов

# Стихи о детях

# Берестов Валентин

# Стихи о детях

Валентин Берестов

Стихи о детях

Содержание

Любили тебя без особых причин

Бабушка Катя

Прятки

Уроки

Третья попытка

Из цикла "Школьная лирика"

Он руку над партою тянет и тянет

Где право, где лево

Читалочка

С тобой мы дружили, как дружат мальчишки

\* \* \*

Любили тебя без особых причин

За то, что ты - внук.

За то, что ты - сын.

За то, что малыш.

За то, что растешь.

За то, что на папу и маму

похож.

И эта любовь до конца твоих

дней

Останется тайной опорой твоей.

Бабушка Катя

Вижу, бабушка Катя

Стоит у кровати.

Из деревни приехала

Бабушка Катя.

Маме узел с гостинцем

Она подает.

Мне тихонько

Сушеную грушу сует.

Приказала отцу моему,

Как ребенку:

"Ты уж, деточка, сам

Распряги лошаденку!"

И с почтеньем спросила,

Склонясь надо мной:

"Не желаешь ли сказочку,

Батюшка мой?"

Прятки

Снова, как и много лет назад,

Захожу в знакомый двор и в сад.

Двор пустой. И никого в саду.

Как же я товарищей найду?

Никого... А все же кто-то есть.

Пусто... Но они должны быть здесь.

Раз-два-три-четыре-пять,

Я иду искать!

Я от глаз ладони оторву.

Эй, ребята! Кто упал в траву?

Кто в сарае? Кто за тем углом?

Кто там за березовым стволом?

...Я не верю в опустевший двор.

Я играю с вами до сих пор.

Уроки

Учил уроки. Повторял уроки.

Уроки сделав, на уроки мчал.

Как слушал я уроки на уроке!

Как у доски уроки отвечал!

А заслужив укоры иль упреки,

Я тут же извлекал из них уроки.

За педагогом следовал я взглядом.

Меня не отвлекало ничего.

А кто тогда сидел за партой рядом,

Пусть он простит, не слышал я его.

Ученье... Человеком правят страсти,

А я у этой страсти был во власти.

В любом из нас сидит школяр-невольник,

Боящийся, что вызовут к доске.

В любом из нас живет веселый школьник,

Чертящий теоремы на песке.

За школьный дух без примеси школярства,

Как за коня, готов отдать полцарства.

Третья попытка

Ты не сразу бросаешь арену

И не сразу подводишь черту.

Три попытки даются спортсмену

Для того, чтобы взять высоту.

Неудача, но ты не в убытке:

Снова близок решающий миг.

Ты готовишься к третьей попытке,

Наблюдая попытки других.

Разбежался. Взлетел. И - готово!

...Возвещая о новой борьбе,

Выше ставится планка, и снова

Три попытки даются тебе.

А не вышло (попытка - не пытка),

Стиснув зубы, готовься и жди.

И выходит, что третья попытка

Остается всегда впереди.

Из цикла "Школьная лирика"

\* \* \*

Он руку над партою тянет и тянет.

Неужто никто на него и не взглянет?

Он - весь нетерпенье: "Спросите меня!"

Как будто, загнав по дороге коня,

Сюда он примчался со срочным пакетом,

Со срочным пакетом и точным ответом.

Не нужно отметок в журнал и в дневник,

Довольно того, что он в тайну проник,

Что чудо свершилось, задача решилась...

Спросите, пожалуйста! Сделайте милость!

Где право, где лево

Стоял ученик на развилке дорог.

Где право, где лево, понять он не мог.

Но вдруг ученик в голове почесал

Той самой рукою, которой писал.

И мячик кидал, и страницы листал.

И ложку держал, и полы подметал.

"Победа!" - раздался ликующий крик.

Где право, где лево, узнал ученик.

Читалочка

Как хорошо уметь читать!

Не надо к маме приставать,

Не надо к бабушке идти:

- Прочти, пожалуйста! Прочти!

Не надо умолять сестрицу:

- Ну, почитай еще страницу!

Не надо звать.

Не надо ждать.

А можно взять

И почитать!

\* \* \*

С тобой мы дружили, как дружат мальчишки,

Сражались и спорили без передышки.

Бывало, лишь только сойдемся с тобой,

И сразу у нас начинается бой.

Опять в рукопашной иль шахматной схватке

Друг друга спешим положить на лопатки.

Где меч отсверкал, там покатится мяч.

Ликуй, победитель! Поверженный, плачь!

Нам эти сражения не надоели,

Хоть каждый сто раз погибал на дуэли.

Зато сохранили мы дружбу свою.

Еще бы! Она закалилась в бою!

# Валентин Берестов

# Наказание

# Берестов Валентин

# Наказание

Валентин Берестов

Наказание

На 346 году Будущей эры некий Нарушитель совершил проступок, вызвавший всеобщее недоумение и самые разнообразные толки.

Проступок объяснили своеобразием характера Нарушителя, недоразумением, временным умопомрачением, педагогическими ошибками, которые, может быть, совершили в детстве воспитатели Нарушителя, уязвленным самолюбием, срывами в работе, неустроенной личной жизнью и даже излишне пылким проявлением добрых чувств.

Но все эти объяснения оставляли у людей той прекрасной эпохи смутное чувство неудовлетворенности. Получалось, что нужно скорее сострадать Нарушителю, чем осуждать его. Да и сам Нарушитель то ухмылялся, радуясь неожиданной популярности, то всем своим скорбным видом взывал к сочувствию.

Объяснения были правдоподобны, но оставался в этом деле некий икс, не раскрыв которого ничего не поймешь.

Решение вопроса поручили электронному мозгу. Ответ пришел поразительный: "Поступок является попыткой достичь своих целей низким искательством при отсутствии чувства чести и самоуважения. В древности его назвали бы подлым".

Ответ вызвал не только отвращение к Нарушителю, но и успокоение умов, чувство облегчения, которое приходит, когда решена сложная задача.

"Если уж в древности только исключительные преступления называли подлыми, то каким же преступлением была сама подлость!" - рассуждали все.

Преступление требовало наказания, которого не было в обычаях и установлениях того чудесного времени. Тогда решили покарать подлость по законам тех исторических эпох, когда она еще существовала на Земле.

В электронный мозг поступили все судебники, уложения, законоположения, уставы и кодексы, начиная с законов древневавилонского царя Хаммурапи. Решения ждали с трепетом, а то и с ужасом: вдруг выйдет, что Нарушителя следует повесить, четвертовать, колесовать или, обмазав медом, посадить в муравейник.

И снова ошеломляющий ответ: "Нет никаких данных, что подлость как таковая преследовалась законами. Она каралась лишь постольку, поскольку входила в состав других преступлений".

- Как? - удивилось человечество. - Неужели древние спокойно терпели такую ужасную вещь, как подлость?

Электронному мозгу пришлось переработать уйму материала, начиная с древних саг и былин и кончая пожелтевшими телесценариями. И вот пришел ответ: "Среднестатистическое наказание за подлость - пощечина, затрещина, плюха, оплеуха".

Наказание было совершено в торжественной обстановке на глазах у всего человечества, приникшего к устройствам, заменившим наши телевизоры.

На ринге Центрального стадиона в разных углах, опираясь на канаты, стояли Нарушитель и Наиболее Потерпевший. По свистку Верховного судьи (судьи сохранились только в спорте) они стали сближаться.

Наиболее Потерпевший был мрачен. "Все-таки жестокие обычаи были у древних, - думал он. - После того, что пережил, ты должен еще и ударить человека. А вдруг этот подлец сообразит после правой щеки подставить левую? Я этого не вынесу. Может, взять и по-братски поцеловать его? А если он тут же умрет со стыда за содеянное?"

Он занес руку. Человечество застонало от ужаса. Ведь люди привыкли ощущать чужую боль как свою.

И вдруг Наиболее Потерпевший опешил. Щека Нарушителя, которая должна была подвергнуться экзекуции, густо покраснела, хотя пощечина еще не была нанесена. Покраснение быстро распространилось на другую щеку, а затем и на все лицо.

- Доктора! Доктора! - закричал Верховный судья.

- Послушайте! - раздался женский голос из первых рядов. - Не надо никакого доктора. Нарушителю стыдно. Он просто покраснел. Так бывает. Я где-то читала об этом!

- Ему стыдно! Он познал стыд! Он спасен!

По всей Земле, на всех обитаемых планетах Солнечной системы люди аплодировали, обнимались и плакали от радости.

# Валентин Берестов

# Мысли не пахнут

# *Валентин Берестов*

# Мысли не пахнут

# Фантастическая юмореска

# *Рис. В.Колтунова*

Честно говоря, я стесняюсь обращаться к частникам. Но объявление на столбе у автобусной остановки на всякий случай запомнил: «ДОКТОР ШНУР. ПСИХОТЕРАПИЯ. МЫСЛЕКОСМЕТИКА. МЫСЛЕГИГИЕНА». Адрес. Телефон. Телепатический индекс не самого доктора, а его лаборантки.

Терпение мое кончилось, когда в вагоне метро милая старушка шепнула мне на ухо:

— Молодой человек, с такими мыслями лучше бы дома посидеть.

Я не выдержал, тут же в метро установил ТПС с лаборанткой и на следующий день очутился у доктора Шнура.

В приемной трое перелистывали старые журналы. Когда я вошел, все трое поглядели на меня, брезгливо сморщили носы и переглянулись.

Я бы на их месте вел себя скромней: у одного из них мысли явно пахли мышами, у другого квашеной капустой и лишь у третьего запах мыслей был такой, с которым не так уж стыдно появляться на улице и в обществе, — нечто вроде этилированного бензина, резкий, противный, но хотя бы не позорный. Самих мыслей я, разумеется, прочитать не мог, так как ТПИ сидящих в приемной не были мне известны.

Маленькая остроносая лаборантка (ее мысли пахли земляничным мылом) назвала мою фамилию, и я вошел в кабинет. Доктор Шнур, худой, высокий, в белом халате, на котором эффектно выделялся голубой колпачок ТПУ, пожал мне руку и быстро заглянул в глаза. От его мыслей пахло озоном.

— Доктор, — начал я с места в карьер. — Пожалуйста, скажите, чем же, черт побери, пахнут мои мысли? Ведь только я один этого не знаю.

— Успокойтесь, — ответил доктор. — Мысли не пахнут. Это иллюзия. Просто у всех завелись ТПУ, и люди улавливают некий фон, на котором возникают чужие мысли. Улавливают сознанием. Нос тут совершенно ни при чем.

— Но почему же они его морщат? А позавчера на концерте органной музыки от меня даже отсела соседка.

— Иллюзия, — улыбнулся доктор. — Этот фон, или, говоря по старинке, образ мыслей, воспринимается как запах. Но в действительности мысли, повторяю, запаха не имеют — и, следовательно, не могут воздействовать на обоняние.

— И все-таки чем пахнут мои мысли?

— Все будет хорошо, мой дорогой, — ласково сказал доктор Шнур. От его мыслей вдруг запахло нагретой хвоей.

И я приступил к делу:

— Я ничего не понимаю, доктор. На людях, клянусь вам, я всегда стараюсь думать только о хорошем. Ей-богу! О детях. Или там о природе. О поэзии. Недавно приятель посоветовал думать о памятниках старины — ему это помогло. Я и о них думаю. Толку никакого. У меня больше нет друзей, на работе меня едва терпят, жена ушла к матери, хотя до изобретения ТПС мы жили дружно. Пишет, чтобы я музыку слушал, ходил в музеи. Искусство, мол, облагораживает. Куда там! Помогает, конечно, но на каких-то десять минут. Постоишь в раздевалке, и опять от тебя носы воротят.

— Видите ли, голубчик, — усмехнулся врач. — Фон, или, как вы изволите выражаться, запах мыслей, не всегда зависит от самих мыслей, от их содержания. У одного моего больного прямо на глазах фон резко улучшился. «О чем вы подумали?» — сразу же спросил я. Подумал же он примерно вот что: «А пошли вы все!» И, знаете, фон оказался весьма благопристойным. Другой пациент восторженно размышлял на тему, как прекрасен мир. И что же? Фон этой достойнейшей мысли был такой, что мне пришлось на несколько часов задержать больного у себя, пока не выветрилось.

— Так что же делать?

— Прежде всего старайтесь не лгать даже в мыслях, даже самому себе. Лживые мысли, как правило, неприятно действуют на окружающих. Поэтому в общественных местах рекомендуется мыслить правдиво.

— Э-э, доктор! Видел я в электричке рыбака, сидит ухмыляется, руки раздвигает — вот, мол, какая была! Уверяю вас, мысленно плетет всякие небылицы. А фон у этого вранья такой, что с ним хоть в президиум садись.

— Это, дорогой мой, не ложь, а самодеятельное творчество, разновидность поэтического вдохновения.

— Ну хорошо. Сижу дома, разбираю бумаги, а сам думаю, как на собрании всю правду выложу. А жена ворчит: «Не знаю, что ты думаешь, но чувствую, что лжешь». Что вы на это скажете?

От мыслей доктора Шнура у меня приятно защекотало в носу — видно, веселое что-то подумал.

— Милый, — произнес он. — Хочу напомнить вам слова старого английского поэта:

Правда, сказанная злобно,

Лжи отъявленной подобна.

И еще… В молодости, изучая психологию замкнутых коллективов, ездил я в экспедиции. Был там один повар, симпатичнейший заика. Как-то он сказал мне: «Говорят, я п-поехал в экспедицию, п-потому что меня жена б-бьет. Это, конечно, п-правда. Но зачем так к-клеветать на человека?» И по-своему он был прав. Как вы думаете?

— Я, доктор, об одном думаю. Вот выйду от вас на улицу, и опять от меня начнут шарахаться.

— Скажите, милый, вы не приглядывались к тем, у кого этот самый фон, или, по-вашему, запах мыслей, всегда приятен?

— Да, доктор. Как это им удается? Прямо артисты! И о чем, интересно, они думают? Как исхитряются?

— А знаете, милый, о чем вы на самом деле думаете, на что растрачиваете колоссальную умственную энергию? О том, какое впечатление вы производите! О том, как бы выглядеть получше в глазах людей!

— Разве это плохо, доктор?

— Как вам сказать… По существу, вы все время рассчитываете, прикидываете, как бы получше приспособиться к людям, как выдать себя не за того, кто вы есть. И ваши мысли, голубчик, даже правдивые, даже прекрасные, так сказать, пахнут чем-то не тем.

— Вы много себе позволяете, доктор Шнур.

— Простите, голубчик. Так вот. Эти счастливцы, эти, по-вашему, ловкачи и пройдохи, меньше всего думают, что о них думают. Они полностью отдаются своему делу, своей любви, своему вдохновению. И значит, для того, чтобы иметь приличный образ мыслей, необходимо, как это ни парадоксально, мыслить! Да-да, мыслить, работать, любить, верить и, пусть это прозвучит банально, созидать! Вот и все. И тогда вы можете смело показываться в обществе.

— И только? — обрадовался я. — Да ведь это совсем нетрудно!

— Вы находите? — рассмеялся доктор. — А что? Пожалуй, вы правы. Нетрудно! Радостно! Приятно! Естественно! И главное — полностью соответствует природе человека! Желаю вам успехов!

И вдруг доктор Шнур непроизвольным движением зажал себе нос.

— Доктор! — завопил я. — Скажите же, наконец, чем пахнут мои мысли?

— Я же сказал, мысли не пахнут, — ответил Шнур. — Просто вы сейчас подумали: «Денег он, кажется, не возьмет». Правильно подумали, но фон у этой мысли был не совсем тот. Ничего-ничего, родной, это у вас пройдет!

# Валентин Берестов

# Веселое лето (рис. Сутеева)

# Берестов Валентин Дмитриевич

# ВЕСЁЛОЕ ЛЕТО

###### Рисунки В. Сутеева

## ВЕСЁЛОЕ ЛЕТО

Лето, лето к нам пришло!

Стало сухо и тепло.

По дорожке

Прямиком

Ходят ножки

Босиком.

Кружат пчёлы,

Вьются птицы.

А Маринка

Веселится.

Увидала петуха:

— Вот так птица! Ха-ха-ха!

Удивительный петух:

Сверху — перья, снизу — пух

Увидала поросёнка,

Улыбается девчонка:

— Кто от курицы бежит,

На всю улицу визжит,

Вместо хвостика крючок,

Вместо носа пятачок,

Пятачок

Дырявый,

А крючок

Вертлявый? —

А Барбос,

Рыжий пёс,

Рассмешил её до слёз.

Он бежит не за котом,

А за собственным хвостом.

Хитрый хвостик вьётся,

В зубы не даётся.

Пёс уныло ковыляет,

Потому что он устал.

Хвостик весело виляет:

«Не достал! Не достал!»

Лето, лето к нам пришло!

Стало сухо и тепло.

По дорожке

Прямиком

Ходят ножки

Босиком.

## КОШКИН ЩЕНОК

Был у кошки сын приёмный —

Не котёнок, а щенок,

Очень милый, очень скромный,

Очень ласковый сынок.

Без воды и без мочала

Кошка сына умывала;

Вместо губки, вместо мыла

Языком сыночка мыла.

Быстро лижет язычок

Шею, спинку и бочок.

Кошка-мать —

Животное

Очень чистоплотное.

Но подрос

Сынок приёмный,

И теперь он пёс

Огромный.

Бедной маме не под силу

Мыть лохматого верзилу.

На громадные бока

Не хватает языка.

Чтобы вымыть шею

Сыну,

Надо влезть

Ему на спину.

— Ox, — вздохнула кошка-мать, —

Трудно сына умывать!

Сам плескайся, сам купайся,

Сам без мамы умывайся.

Сын купается в реке.

Мама дремлет на песке.

## СЕРЁЖА И ГВОЗДИ

Сотрясается весь дом:

Бьёт Серёжа молотком;

Покраснев от злости,

Забивает гвозди.

Гвозди гнутся,

Гвозди мнутся,

Гвозди извиваются,

Над Серёжею они

Просто издеваются —

В стенку не вбиваются.

Хорошо, что руки целы.

Нет, совсем другое дело —

Гвозди в землю забивать.

Тук! — и шляпки не видать.

Не гнутся,

Не ломаются,

Обратно вынимаются!

## КАРТИНКИ В ЛУЖАХ

В лужах картинки!

На первой — дом,

Как настоящий,

Только вверх дном.

Вторая картинка.

Небо на ней,

Как настоящее,

Даже синей.

Третья картинка.

Ветка на ней,

Как настоящая,

Но зеленей.

А на четвёртой

Картинке

Я промочил

Ботинки.

## СОВА И СИНИЦА

У совы у старой

Не глаза, а фары —

Круглые, большие,

Страшные такие.

А у птички у синички,

У синички-невелички,

Глазки, словно бусинки,

Малюсенькие.

Но синичьи глазки

Смотрят без опаски

И на облачко вдали,

И на зёрнышко в пыли.

Днём сова не видит,

Значит, не обидит.

Ночь вошла в свои права,

В путь пускается сова.

Всё глаза огромные

Видят ночью тёмною.

А синица не боится,

Потому что спит синица,

Крепко спит она в гнезде,

Не видать её нигде.

## СКАЗКА ПРО ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ

Автомобилю в выходной

Хотелось отдохнуть.

Под крышей душно в летний зной,

И он пустился в путь.

Мигнул зелёный светофор —

И вот встаёт зелёный бор.

Он так и манит в глубину,

Зовёт к себе тайком.

Автомобиль сказал: — А ну!

Отправимся пешком. —

Через кювет перескочил,

Вздохнул: — Прощай, шоссе!

И сразу шины промочил

В сверкающей росе.

Он дал гудок: — Дорогу мне!

Позвольте мне пройти!

Стоят стеной — сосна к сосне —

Деревья на пути.

Но тут раздвинулись они,

И свет блеснул вдали,

И даже кочки, даже пни

В сторонку отползли.

Теперь он шёл куда хотел

И всё гудел, гудел, гудел…

И вдруг ответный громкий зов

Издал могучий лось,

И эхо сотней голосов

На зов отозвалось.

…Он лёг в траву.

А между тем

По листьям и цветам

Жуки всех марок и систем

Ползли и тут и там.

Он видел красные стволы

И слушал шум вершин,

И пахли капельки смолы

Не хуже, чем бензин.

А вот взлетела стрекоза.

Как фары, у неё глаза.

Вот свой моторчик завела,

Жужжит, кружит пчела.

Вот гусеница. Здесь она

Ползёт без трактора, одна.

(Поползай, прежде чем летать,

Коль хочешь бабочкою стать!)

И вдруг «турист»,

Дрожа как лист,

Услышал с ветки чей-то свист.

Свисток немного посвистел,

Махнул крылом и улетел.

Среди берёз, среди дубов

Ходил бродяга наш

И с полным кузовом грибов

Вернулся в свой гараж.

И, отдохнув среди полей,

В лесах набравшись сил,

Теперь он бегал веселей

И лучше тормозил.

# Валентин Берестов

# Светлые силы

# Берестов Валентин

# Светлые силы

Валентин Берестов

Светлые силы

Книга воспоминаний

ДЕТСТВО В МАЛЕНЬКОМ ГОРОДЕ

Глава первая. ПРОИСХОЖДЕНИЕ

САМАЯ ПЕРВАЯ ТАЙНА

О своем детстве я привык рассказывать стихами. Оно открывалось мне, взрослому, как тайна, - озарениями. Кроме того, я родился в стране, полной государственных. военных, хозяйственных, партийных и, разумеется, личных тайн и секретов. Да и само детство - тоже тайна.

Родился на одиннадцатом году от Октябрьской революции. Эту новую дату каждый день указывали календари нашего детства. Но и прежний отсчет, от Рождества Христова, не посмели отменить. Выжидали, пока привычная уже для новых поколений, коммунистическая эра не вытеснит из сознания людей (желательно, всего человечества) прежнюю, устаревшую и, как любили тогда говорить, отжившую.

Итак, 1 апреля 1928 года. Мещовск Калужской области (тогда Западной, с центром в Смоленске). Это не тайна. Дату рождения и название города даю во всех анкетах, пишу на всяких бланках. Но за ней была еще одна. Нет, не дата выдача паспорта, какую, сколько ни вписывай ее в бюрократические бумажки, так и не могу упомнить. Речь о дате, важной для многих поколений предков, о дате крещения. Вот она-то на одиннадцатом году революции была опаснейшей тайной.

Лишь после 60-ти лет услышал по телефону от земляка, что некогда был крещен. "Значит,- думаю,- у меня есть свой ангел-хранитель? Очень похоже на то!" Нужно было дожить до 63 лет, чтобы наконец узнать, что крестил меня отец Иоанн в давно снесенной церкви Петра и Павла (на ее месте построили райфинотдел). Крестным отцом был молодой агроном Дмитрий Федорович Ласкин (от него, почти столетнего, я это и узнал). Крестной матерью, по его словам, была родственница бабушки со стороны матери. Подозреваю, что тетя Маша, Мария Ильинична Телегина, портниха и потомственная дворянка. Мама, не говоря об отце-коммунисте, той тайны не знала. Иначе в семидесятых годах, когда многие начали крестить детей, сказала бы об этом. Таким образом, мне с первых же дней жизни не дали стать полноценным человеком новой эпохи, тайком включив нового человека в не до конца прерванную связь времен.

Однажды, в семидесятых годах, во сне ни с того ни с сего всплыла некая церковная картина. Лежу на каменном полу, надо мной важно ходят бородатые исполины в сверкающих ризах. Тут же догадка: не лежу я в церкви, а просто гляжу на все глазами малого ребенка. То ли крестили меня уже годовалым. (Новорожденные в городке наперечет, сразу б вычислили, чьего младенца крестят). То ли баба Саша с тетей Машей водили или еще носили внука в храм, пока я не умел говорить и не мог их выдать. Значит, в душе всплыл некий миг, когда мы с бабушкой были перед самым алтарем, как бы внутри церковного действа. Добавлю, что в семидесятых одного такого сна бывало достаточно, чтобы человек вернулся к Богу. Так было с поэтессой, переводчицей японских стихов и прозы Верой Николаевной Марковой. Она говорила, что для нее возвращение к вере началось с вещих снов. Значит, на уровне подсознания.

Долго считал себя первым некрещеным в нашем роду. А им стал средний брат Дима. Окрестить его бабушки уже не посмели. Крестился лишь после шестидесяти.

Дальше помню вкус просфор. Бабушка с тетей Машей аккуратно несли их мне из церкви как своему единоверцу. Пресные, несладкие, хоть похожи на печенье. Удивляло, почему старушки вынимают их из ридикюлей, будто драгоценности, и столь внимательно наблюдают, как я их разглядываю и грызу в надежде, что хоть одна окажется сладкой. Помню бутыль с непортящейся святой водой из Тихоновой Пустыни. Помню коленопреклоненную бабушку перед негасимой лампадой, ее поклоны и жаркий молитвенный шепот.

Помню странников, странниц, просто нищих, их бормотание: "Господи Иисусе Христе, сыне Божие!" и "Христа ради!" Смысл не понятен. Ждут какого-то "санебожия", просят под окнами какое-то "христорадие". "Тетя Маша! - тормошу бабушкину сестру. - Дай им христорадие!" Слово "акафист" тоже помню с детства, как и молитвенники с красивыми черными завитушками славянскими буквами. Бабушка Саша любила духовную поэзию.

А еще помнятся конники на одной из икон. Наверное, святые князья Борис и Глеб, погубленные их окаянным братом Святополком. У коней лебединые шеи. Житие Бориса и Глеба при советской власти печаталось как литературный памятник. "Цвет цветы юности моея!" - обращался брат к брату.

Все эти впечатления , если не способствовали развитию религиозного чувства, то несомненно ослабили внушаемые тогдашним детям чувства антирелигиозные. То, что для бабушек было верой, для внука стало поэзией.

Боюсь, что все наши несчастья происходят по одной причине: слишком мало знаем себя. Ни Маркс с Энгельсом, ни Ленин еще не знали, например, что одно полушарие мозга ведает логикой и словами, а другое -образным мышлением, оно иррационально. В одном непременно угнездится знание, в другом - вера. Отключи "неразумное" полушарие, и попадешь во власть словесных штампов, перестанешь видеть, что происходит в мире на самом деле. Впрочем, будь ты даже сверхатеистом, правое полушарие превратит твой атеизм в настоящую, даже фанатичную веру. И, разумеется, наоборот.

Сколько всяких лозунгов, заветов (большевики охотно взяли это слово у церкви, вместо Ветхого и Нового завета, есть даже дачный поселок "Заветы Ильича") наслушались мы с детства. Но уж если какое-нибудь утверждение мыслителя считать заветом, то лучше бы им стал завет Сократа: "Познай самого себя!" Как создавать Нового Человека, не зная природы человека?

ТАЙНЫ РОДИТЕЛЕЙ

Не будь революции, я б родился не первого апреля, а восемнадцатого марта по старому стилю, день рождения не был бы днем розыгрышей и смешных обманов.

Первой жертвой потерявшего серьезность дня моего рождения стал отец Дмитрий Матвеевич. Ему было тогда тридцать три года, а маме - двадцать два. Впрочем, еще девушкой она ухитрилась убавить себе годик, не думая, что когда-нибудь дело дойдет до пенсии и придется пожалеть о том девическом кокетстве.

Когда я родился, папа был в командировке. На станцию Кудринская, в двадцати километрах от Мещовска, снарядили единственного в городе извозчика Зикеева. "Кого встречаем?" - осведомился отец. "Вас, - смеется Зикеев. Поздравляю с сыном!" "Первое апреля! - развеселился отец. - Или не родился, или не сын! И вообще такими вещами не шутят!".

Папа преподавал историю в Мещовской школе. Одна его ученица написала мне, уже писателю, как радовался отец рождению первенца и как ученики ждали его, как поздравляли в начале урока.

Первые полтора года прожито при нэпе. Потом начался так называемый "великий перелом " с коллективизацией и индустриализацией. Слово "перелом" пахнет больницей, но там переломы лечат, а здесь их делали нарочно. Как и все переломы, "великий перелом" тоже напоминал о себе болью.

В 1958 году решил отметить свое тридцатилетие у родителей. Только у них не чувствовал себя стариком. Сочинил было на свой новый возраст грустную элегию, но родились лишь две не слишком элегических строчки:

Давно ль я начал бриться,

И вот уже мне тридцать.

Стоило приехать к родителям, как молодость вернулась. Но мои старики сидели по углам и грустно помалкивали. Может, и до них дошло: сын уже не молод! Но нет, мысли их унесло в тридцатый год.

"Я думаю о том Валином дне рождения, когда ему было два", - наконец произнес папа. "Я тоже, - призналась мама. - Ужасный день! Через Мещовск везли раскулаченных. Стон стоял над городом. А ты вернулся из деревни, я же знала, с раскулачивания. А сам такой довольный, даже смеялся. Чему ты радовался?" - "В тот день,- сказал отец,- я спас от выселения три семьи". Он тогда не посмел никому, даже маме, сказать о своей радости. А мама не посмела поделиться печалью. Вдруг услышат!

Значит, я мог видеть или даже не мог не видеть, как крестьян, имевших несчастье быть зажиточными, гнали мимо наших окон, будто каторжников, заложников или пленных.

Двухлетний ребенок, конечно, не мог понять, в чем дело, но что-то осталось в подсознании. Недаром я так долго искал мотив к песне, какую прислала для передачи "В нашу гавань заходили корабли" пенсионерка Крутикова, дочь кулака, сосланная вместе с семьей в Нарымскую тайгу. Их и поездом везли, и пароходом:

В трюмах тоже было жарко.

Задыхался весь народ.

Плач детей, старух рыданья

Тихо тянет пароход.

Плач детей на повозках, рыданья старух, шествие изнуренных мужиков и баб - вот на что глядел я беспечальным младенческим взором. Вспомнилось, что в середине тридцатых годов у нас в Мещовске часто пели "Солнце всходит и заходит, а в тюрьме моей темно". На этот мотив я и спел со сцены потаенную песню несчастных "кулаков", чудом дошедшую до наших дней. Тайны,тайны...

Зато родители не делали для нас, детей, тайны из своей любви. Мама до замужества ходила в народный дом. Там собиралась интеллигенция. Пели, музицировали, читали стихи, ставили пьесы, вели диспуты, слушали лекции. "Какой он умный! - решила моя будущая мама, послушав будущего отца. - С ним есть о чем поговорить." Так за всю жизнь и не наговорились!

Но больше всего барышню из пригородной деревни тронул лирический тенор учителя истории. И очаровал навсегда. Однажды папа проводил ее до самого Серебрена. Моей будущей маме наконец-то удалось провести вечер в обществе умного человека. Но ни тогда, ни на других свиданиях она ему рта не дала раскрыть. Сама что-то рассказывала, щебетала.

Ты умолкла. Ты молчишь.

Как отрадно в эту тишь!

сочинил отец, когда мама вдруг замолкла. И она впервые вытерпела одну из бесчисленных шуток, какие отец всю жизнь отпускал по ее адресу. Помню, сидим за столом, обедаем, мама что-то говорит. Папа тут же подхватывает и доводит ее слова до полной бессмыслицы. Мама не подозревает подвоха. Мы с братом давимся от смеха. Тут до нее доходит второй смысл сказанного отцом, и раздается грозное: "Что ты сказал? Ну-ка, повтори!"

Как-то вечером Дмитрий Матвеевич Берестов ждал Зинаиду Федоровну Телегину для решительного объяснения. Она должна была появиться из Серебрена с той стороны моста. Под мостом - овраг, на дне оврага - речка с древним именем Турея. Вдруг видит: барышня спешит к нему не по мосту над чернеющим оврагом, а по узким перилам, как циркачка по канату. Объяснения не состоялось. Наутро отец бросился советоваться к женатому коллеге: "Как быть? Она такая отчаянная! Жениться и сразу же ее потерять!" Но Дмитрий Петрович Поздняков и его жена Августа Александровна, сестра маминой подруги Оли Мелюшкиной, успокоили: это, мол, с годами проходит.

Когда отец явился к бабушке просить маминой руки, невеста залезла на грушевое дерево и оттуда наблюдала, как мать и жених, чинно сидя за столом в саду, пьют чай с земляничным вареньем и беседуют. На другой день сняли квартиру, расписались в загсе, купили ведро малины - и вся свадьба.

Про ведро малины мама, не обращая внимания, слушают ее или нет, рассказала мне, еще малышу. С тех пор это моя любимейшая ягода. На улочках дачных поселков или малых городов восхищаюсь добротой малины к людям, ее приветливостью. За какие заборы ее ни спрячь, непременно просунет ветку или пустит на ничейную землю отросток с ягодами, угощая всех прохожих без разбора. Никогда не отказываюсь от угощения, хоть одну ягоду да сниму с ветки.

В Абхазии столь же приветлива к путникам ежевика, Там она ведет себя не так застенчиво, как у нас: свисает с заборов, бросается в глаза. Как-то мы с женой и дочерью на время остались без денег. Но все плоды юга нам щедро и бесплатно заменила ежевика, "ягода дорожная", как ее назвал в стихах Фазиль Искандер.

БАБУШКИ И ДЕДУШКИ

Помню нашу квартиру в Мещовске на втором этаже в доме на улице Луначарского. Мама уверяла, что я никак не могу помнить то время. Подробно описал ей, как в полуоткрытую дверь из кухни со свежепобеленной печью льется свет, и мама поверила, ни в одной из наших следующих квартир в дверь детской нельзя было увидеть кухонную печь.

Не сплю, жду легких шагов отца на лестнице. Мама тоже ждет. Его приход - для нее всегда праздник. И вот папа рядом. Он поет колыбельные Моцарта, Чайковского. Поет "В голубой далекой спаленке" своего любимого Вертинского, на слова Блока: "Тихо вышел карлик маленький и часы остановил". У папы дивный голос и абсолютный слух. Законоучитель Полтавской учительской семинарии прозвал его Романом-сладкопевцем.

А еще счастье, когда над кроваткой сидела прибывшая из деревни Торхово баба Катя. Ехала она в телеге, сама правила лошадью. Потом напишу стихи, как она "приказала отцу моему, как ребенку: "Ты уж, деточка, сам распряги лошаденку!" и с почтеньем спросила, склонясь надо мной: "Не желаешь ли сказочку, батюшка мой?" И сейчас в калужских деревнях можно услышать это "батюшка", обращенное к малому ребенку, существу на вид такому важному, степенному. И вспоминается английское изречение: "Ребенок - отец человека". Заодно я воспел самый сладкий из бабушкиных гостинцев - сушеную грушу.

Не помню ни голоса бабы Кати, ни прибауток, ни сказок. Зато вижу, как во тьме мерцают розовые существа. Одно из них, самое любимое. - розовый конь, как бы возникший над кроваткой. Сивка-Бурка, вещая каурка! Запомнил его, искал у поэтов. К младенцу Пушкину "на ложе роз волшебники, волшебницы слетали", наверное, тоже розовые. Есенин "весенней гулкой ранью проскакал на розовом коне". Розовый конь младенчества? В том же 1958 году, когда я вдруг ощутил себя старым, в калужской деревне Судимир мальчик дал мне свой рисунок, Гляжу,а на нем розовый конь из бабушкиных сказок. Вера Николаевна Маркова говорила, что такие образы возникают перед каждым младенцем, но лишь немногие взрослые помнят их. Розовые видения самого раннего детства!

Если говорить о тайнах, то догадываюсь, почему у родителей не было свадьбы. Учителя любили отца, подруги любили маму, устроили бы складчину. Но не усадишь за один стол два мира, мамин и папин. Видно, и рождением я обязан революции. На свадьбу пришлось бы звать не только родных, но и папиных коллег - городских активистов. И куда больше было бы разговоров, что член партии, комбат гражданской войны, крестьянский сын, женился на дочери известного в округе помещика, что теща, баба Саша - дворянка из старинного рода Труновых. Мой младший брат Толя, библиотекарь, выяснил, что Труновы ведут начало с 16-го века от выходца из Трансильвании. Верно, какой-нибудь румын Трунеску или венгр Трунаи. Первые Труновы были "боярскими детьми", чем-то в феодальной иерархии средним между боярами и дворянами. Каждый знатный род почему-то гордился происхождением от перешедшего на царскую службу иноземца. Этакий аристократический интернационализм!

Правда, дед со стороны матери Федор Федорович - из орловских крестьян. В семнадцать лет пас гусей. Гроза загнала к нему в шалаш барыню со спутниками. Та обратила внимание на смышленого юношу, отдала в ученье, сделала приказчиком. Сестра деда Наталья Федоровна тоже попала в иной круг, в конце века вышла за кого-то из Циолковских, может, даже близкого родственника калужского мечтателя и ученого. Как сообщила нам калужская краеведка Генриетта Морозова, в реестре Пятницкого кладбища Наталья Федоровна числится под фамилией - Телегина-Циолковская.

Не знаю, как там было дальше, но дед стал владельцем благоустроенного имения Серебрено, богатым человеком. Делал крупные вклады в мужской монастырь Оптина Пустынь и в женскую Шамординскую обитель как раз в то время, когда ее настоятельницей была родная сестра Льва Толстого. Моего дядю Федора не пустил учиться живописи, проворчал в рифму: "Художники - все безбожники". Зато мамину сестру Надю отдал в университет. Мечтой деда было дворянство. Кончив университет, тетя Надя стала бы личной дворянкой, то есть была бы причислена к высшему сословию, но без права передачи дворянского звания наследникам, Вторым браком он женился на бабе Саше не только из-за ее красоты, но, подозреваю, из-за происхождения. Судя по фото, это был румяный осанистый бородатый человек. Когда мама резала лук, она всегда вспоминала, что дед любил лук, считая его средством от всех болезней.

Таким образом, происхождение мое по тем временам было сомнительным. Я стеснялся деда, не расспрашивал о нем, никому не рассказывал. Пусть, мол, бесследно уйдет в прошлое. Потом, став взрослым, угадывал его черты в чеховском Лопахине, новом владельце вишневого сада. А недавно осанистый, румяный, чернобородый "новый русский" в честь своего тридцатилетия снял теплоход "Лев Толстой" и прокатил по каналу и по Волге за Кимры любимых им с юности "бардов", творцов авторской песни, в их числе и автора этих строк. И вспомнился дед Федор, чья судьба ушла, оказывается, не в прошлое, а в будущее. Такие как дед что-то начали да не успели, Россия создала их снова и дает им вторую попытку. Когда кто-нибудь из калужских родичей ругает "новых русских", я говорю, что у скоробогатых бывают довольно милые внуки. В ответ - презрительное: "Можно себе представить!" "А чего представлять? смеюсь. - Это же мы с тобой!"

Дед умер в 1918 году после того, как мужики сожгли его имение. Сожгли просто так, на всякий случай: вдруг прошлое вернется? Дед скорее удивился, чем огорчился: "Что ж это за хозяева, если спалили такую усадьбу со всеми службами? Она бы им еще как пригодилась!"

У деда было и другое горе. Моя голубоглазая черноволосая бабушка, мать пятерых детей, влюбилась в монаха-расстригу, бросила деда. Толки об этом я слышал в Мещовске через полвека после смерти деда. Еще одним горем для семьи был уход младшего маминого брата Мити. Дядя Митя в детстве был очень религиозным, и даже не видя в том кощунства, превратил заброшенный сортир в саду в келью, украсил крестами и иконками и, запершись, долгими часами молился. Уже при советской власти! Но вдруг Митя резко переменил взгляды, порвал с семьей и затерялся где-то в Батуми, начав новую жизнь в новом обществе.

Два маминых брата, дядя Алеша и дядя Сережа, стали инженерами. Оба в моем детстве навестили мать-лишенку. Один из них занес меня в лес на райскую зеленую поляну и смотрел таким добрым любящим взглядом, что этот взгляд запечатлелся навсегда. В сорок лет я попытался передать стихами воспоминание младенчества: "И я запомнил нити на белках, и складки век, и редкие ресницы, и два зрачка, две точечки-зеницы, в двух черных и лучащихся кружках". Он смотрел на малыша любящим взглядом, а того занимали красные ниточки на белках его глаз и свои отражения в дядиных зрачках. Любящему взгляду взрослого ответил любопытный взгляд малыша. Оба маминых брата погибли на войне.

Баба Саша и тетя Маша были лишенками, то есть за дворянство лишились избирательных прав. Выборы открытые, прямые, многоступенчатые. Обе бабушки не допускались на собрания, где поднятием рук выбирали депутатов в горсовет, которые потом из своих рядов выдвинут тех, кто изберет депутатов облсовета и т. д. Жили они в доме с обгоревшим при пожаре забором. Черные лоснящиеся головешки, продолжая служить забором и воротами, поражали воображение. И еще помнится чей-то голос: "Зина! Видели, как твоя мама бежала по улице, а за ней гнался фининспектор". Не представляю полную достоинства бабушку бегущей от кого-то. Мало того. что баба Саша с тетей Машей были лишенками. Они были портнихами-"частницами", власть душила их налогами. Шили с перерывами на молитву день и ночь. В тридцать лет, бродя пешком по Калужской области, узнал, как там славились мещовские портные. Женщины из села Воткино в Брянских лесах носили красивые пальто старинного покроя - коротайки. Их шили только в Мещовске.

ПРАБАБУШКА

У бабы Саши с тетей Машей жила за занавеской слепая веселая прабабка Александра Герасимовна. Говорят, в молодости она была красавицей. Как-то ехала в карете, играла с приятельницей в карты. Вдруг видит: к карете прицепился лихой человек, грабитель. "Гони во весь опор!" - спокойно приказала она кучеру. Грабитель умолял остановить карету, обещал спрыгнуть и никогда больше такими делами не заниматься. Но карета мчалась и мчалась по косогору, а подруги как ни в чем не бывало играли в карты. Что сталось с беднягой-грабителем, не знаю.

Мы подружились, когда родители сняли квартиру в доме Кулагина на Октябрьской. Баба Саша с тетей Машей и прабабкой поселились во флигеле, нас разделял только двор. У прабабушки был детекторный приемник с наушниками. Мы передавали их один другому, слушая народные песни в исполнении знаменитой певицы Ковалевой и последние известия Радиостанции имени Коминтерна. Прабабка увлеклась политикой, стала горячей патриоткой социалистического отечества и с 1929 года - подписчицей "Известий". Меня газета привлекала тем, что в каждом номере давала карикатуры на тогдашних мировых лидеров. Как и свойственно детям, я видел в них сказочных персонажей, полагая, что и в жизни они выглядят так же, как их изобразил карикатурист. Помню карикатуры на китайца Чжан Сюэляна во время конфликта на КВЖД и песенку тех времен:

Нас побить, побить хотели,

Нас побить пыталися.

А мы тоже не сидели,

Того дожидалися.

Значит, рожденный в 1928 году, я слежу за газетами, начиная с 1929 года. Прабабушка хранила все номера, делала подшивки. Я листал подшивку за подшивкой, излагая хохочущей старушке содержание карикатур. Запомнились ее смеющиеся губы и веселые морщинки у невидящих глаз. На большом дореволюционном снимке, где вся семья деда поодиночке и группами стоит в саду его имения, поодаль, в одиночестве возвышается величавая, суровая, уже тогда очень старая Александра Герасимовна. Как она ухитрилась повеселеть, потеряв имение, зрение? Сейчас, когда и мне под семьдесят, начинаю ее понимать. Весел, ибо живу. В юности, строя себе судьбу и зная, как подорвал здоровье в годы войны, вовсе не чаял дожить до такого возраста. Так, наверно, и прабабушка радовалась своему десятому десятку под стрекот швейных машинок дочерей, под музыку и голоса из наушников и смех сперва одного, а там и двух правнуков. И благодарила Бога за эту милость. Думаю еще, что без радио она бы так долго не прожила.

Рядом с прабабушкой мы жили у Кулагина. А перебрались в дом Добровой по той же стороне улицы уже без нее. Когда ж умерла прабабушка? Напрягаю память. Убийство Кирова. Мы у Добровой. Зато про челюскинцев слушали по радио вместе. Значит, она умерла между спасением челюскинцев и убийством Кирова. Когда пришли ее хоронить, я убежал как раз к дому Добровой, не ведая, что он станет нашим. С горочки у перекрестка глядел на толпу старушек в черном перед распахнутыми настежь воротами, на священника в золотой ризе. Ее золоту отзывались одуванчики в траве. Итак, веселая прабабушка, чьи гены (вот наше истинное наследство!), может быть, держат меня на земле, ушла в мае, когда дружно цветут одуванчики, мои любимые цветы. Счастье, что и мы с братом успели ее порадовать! Баба Саша звала меня Драгоцунчиком, а Диму Стрекотунчиком. Эти смешные прозвища, наверное, дала прабабушка.

Как же была она счастлива, слушая про челюскинцев! Все тревожатся: ведь ледокол утонул, люди на льдине стойко переносят беду, но их еще не спасли, а она рада. Чему? Теперь догадываюсь. Случись какая беда, сразу выяснялось: виноваты классовые враги, капиталистическое окружение, агенты иностранных разведок, всякие вредители. В гибели "Челюскина" можно было обвинить кого угодно. Этому бы поверили, под горячую руку пролетарской диктатуры попало бы много всякого народу...

Ничего такого не произошло. Ледокол утонул, потому что корабли иногда гибнут во льдах. А буржуйская Америка из таинственного Ванкарема на Аляске помогала нашим летчикам спасать потерпевших кораблекрушение. Летчики, чьи имена и сейчас не забыли люди моего поколения, стали первыми Героями Советского Союза. Герои летели спасать, а не бомбить! Челюскинцев во главе с бородачом-академиком Шмидтом и капитаном Ворониным и героев летчиков, засыпав их листовками, встретила ликующая Москва.

На Западе шутили, что в СССР даже катастрофу умеют превратить в национальный праздник. Но праздник состоял и в том, что несчастье оказалось просто несчастьем, а не вредительством. Спаслись не одни челюскинцы, но и многие, кого бы назначили виновными. Не подверглась испытанию та часть народа, какая поверила бы любому обвинению. Вижу, как кружатся, летя с самолетов листовки над счастливыми москвичами на улице Горького, над авто с открытым верхом, в которых едут челюскинцы. хоть знаю об этом только из черных наушников, их передает мне сияющая от восторга слепая прабабушка-дворянка. Бедствие было "нормальным", не осложненным иными мотивами. За ним, за тем праздником, могла бы прийти нормальная жизнь.

А вдруг прабабка после такой благодати почуяла в радиоголосах новую беду, что надвигалась на страну, на Мещовск и даже на нашу семью. И тихо ушла вместе с подшивками "Известий",- их, конечно, уничтожили, слишком много имен и событий уже следовало забыть.

ДЕД МАТВЕЙ

Другой дед, папин отец Матвей Иванович, крестьянин из деревни Торхово Мещовского уезда. На бабе Кате женат вторым браком. Выходит, пребыванием на этой планете я обязан. . . двум разводам. Полагаю, обоих дедов еще юнцами женили на взрослых девушках. По Пушкину одна из двух главных тем народных песен - "жалоба молодого мужа на постылую жену". При Пушкине у этих бедняг (он сложил про них блестящие подражания народным песням: "Уродился я несчастлив, бесталанлив" и "Соловей") был выход: либо в бега, к волжской вольнице, либо в могилу. Но после освобождения крестьян законы и обычаи смягчились. Я вспомнил своих дедов, изучая те пушкинские песни.

Поражало , что у сверстников были бабушки и не было дедушек. Исключая разве Диминого приятеля Виталика Сорокина. И ведь не на войне погибли, не в революцию, никто их не убивал, но до старости не дожили, не дали счастья внукам. Исключение - всесоюзный дед Корней Иванович Чуковский.

Баба Катя родила деду Матвею 18 детей, выжило девять. Папа по возрасту был четвертым. Про деда он мало рассказывал. Да и видел его лишь в страду. После сева и после уборки дед уходил на заработки в город. Иногда брал с собой бабушку. Папа родился в Киеве, дед служил там швейцаром. Точной даты своего рождения отец не знал: "Было это на масленицу. Мама испекла последний блин и родила меня". В Киеве дед оставил и первую жену. Я знал, что дядя Петр Берестов живет в Киеве, но не видел его даже на снимке.

В деревню дед привозил копейки (он был не дурак выпить). Зато оклеивал избу портретами царских генералов. В красном углу красовались самые с виду грозные воители, с самыми окладистыми бородами. Особенно он увлекся этим в русско-японскую войну. Ради того, видать, и работал газетчиком, хотя читать не умел. Бывал он в городе и печником, обучил ремеслу старших сыновей дядю Колю и дядю Гришу. Кто-то из торховских уверял, что в молодости папа тоже умел класть печи, он будто бы сложил печь в зале ожидания станции Кудринская. Отец не говорил нам об этом, но печи везде, где он жил, всегда были в порядке, в печниках и трубочистах не нуждались..

Отец с детства пристрастился к чтению и к ученью. Все четыре класса учились в одном зале у общей учительницы. Если старшие братья не знали урока, то за них поднимал руку младший. Петь научился в церковном хоре. Когда поступил в Полтавскую учительскую семинарию, дед Матвей при людях важно вручил ему копейку и произнес историческую фразу: "Теперь не скажут, что отец не дал тебе ни копейки на образование".

Дед погиб еще до первой мировой. Скакал через лес, зацепился за ветку шнуром воротника, и шнур задушил его. . . Добавлю, что Берестовы - из экономических крестьян, принадлежали казне и не знали крепостного права.

В Торхове было несколько семей Берестовых, забывших родство. В деревне давали не только клички, но и уличные фамилии - прозвища целым кланам. Лишь писари знали, что речь идет не о Грушкиных или Мишкиных, а о Берестовых. Я - Мишкин. Не так давно в Торхове слышал: "Мишкин из Москвы приехал! Ну, который писатель!" Ираклий Андроников только Мишкиным меня и звал. Наша фамилия не от "бересты" (от нее - Берестневы), а от древнего имени Берест, что означало "вяз, карагач. "И надо ж так случиться, что путь к моему дому от метро Беляево обсажен именно берестами, вязами!

КЛАССОВАЯ НЕНАВИСТЬ

Когда отец в моем детстве говорил о дореволюционной России, я. к удивлению своему, не ощущал в его рассказах ненависти к проклятому прошлому. Чувство, какое обязан был испытывать каждый советский человек. Особенно если речь о попах и помещиках. Отец с детства читал запоем. Очень хороши для этого долгие зимние вечера в деревне. Но как быть, если книга интересная, а бабушка задувает лампу? Мальчик, дождавшись, пока все в избе уснут, вставал под образа в красный угол и при лампаде дочитывал "Трех мушкетеров" или "Капитанскую дочку".

Вскоре прочел все, что было у деревенских грамотеев. Набравшись смелости, пошел к священнику. Тот обрадовался отроку, славно певшему в церковном хоре. В дом при церкви отца пустили с черного хода ("Ага! разжигал я в себе классовую ненависть. - Все-таки с черного!"). Мальчик брал книги с собой или читал прямо у священника. С ним их и обсуждал. Библиотека священника была исчерпана, и тот направил неистового читателя в имение барина Манасеина, брата министра путей сообщения. Здесь перед крестьянским мальчиком рвспахнулась парадная дверь. Вступил на мраморную лестницу. И вдруг по перилам навстречу ему, как озорной мальчишка, скатился желтый скелет. . . Слушая это, я все ж не мог разжечь в себе классовой ненависти к помещику, он разыгрывал всех, не глядя на их социальное происхождение.

Во время первой мировой войны офицеров из высших сословий стало не хватать. Даровитых выходцев из крестьян срочно учили в офицерских школах. В их числе и моего отца. За храбрость прямо из окопов его отпустили на побывку в родное Торхово. Как радовалась бабушка золотым погонам, как восхищались родные и соседи! Вершиной триумфа была главная роль в пьесе "Невинно казненный". Пьесу сыграл кружок любителей на станции Сухиничи. Овации, цветы, комплименты! Переодевшись в военную форму, отец ходил по фойе, ловя отзывы о спектакле. "- Больше всех, - сказала прелестная барышня, - мне понравился Берестов." "Фи! - прервала ее не менее очаровательная особа. - Но ведь он - мужик из этого. . . как его? - из Торхова!" " Ах. мужи-и-ик!" - брезгливо протянула поклонница таланта... И я заметил в глазах моего доброго папы стальной, незнакомый блеск классовой ненависти.

В шестидесятых годах добрый, веселый Корней Иванович Чуковский прибыл из Оксфорда и привез знаменитую, коричневую с красным, мантию почетного доктора литературы с остроугольной плоской черной шапочкой. Оставил меня одного, переоделся и предстал в средневековом ученом облачении, в каком до него последним из русских писателей щеголял, кажется, Тургенев. И тут в глазах Чуковского появился уже единожды виденный мною стальной блеск. "Корнейчук! Корнюшка!- передразнил он голоса, как бы донесшиеся из далекого одесского детства.- Бастард!" Он был "незаконнорожденным" сыном одесской прачки, украинской крестьянки Корнейчуковой. И вот - самая почетная награда в глазах общества, где было унизительным само его рождение.

И если уж в таких добрых, разумных людях как папа или Корней Иванович жила та обида, то до чего ж она была грозна, страшна, безумна, помноженная на миллионы, десятки миллионов глаз.

Что до незаконнорожденных, тут революция и впрямь победила: это перестало что-либо значить. Но сословные деления были, хотя с другим знаком: бывшие дворяне, люди духовного звания и их потомки очутились под подозрением. Правда, мои бабушки не останутся лишенками, сталинская конституция даст им право голоса. Но и в 1972 году, когда напечатали стихи о прабабке-дворянке, мама тревожилась, не рано ли.

Высшим благом было рабоче-крестьянское происхождение. История сыграла с ним шутку. Детей и внуков тех, кто, гордясь им, стал служащим или интеллигентом (обычное клеймо - "гнилым"), перед концом советской власти принимали в институты и в партию не так охотно, как детей тогдашних рабочих и колхозников. Система нуждалась не в биологических, а в социальных потомках.

Отдельное крестьянское сословие постепенно растворилось в рабоче-крестьянском. Часть крестьян ходило с клеймом кулаков или кулацких сынков. Мещане из сословия превратились в литературных персонажей, а их имя - в обидную кличку для людей, далеких от политики.

Происхождение в обществе, провозгласившем себя новым, продолжало многое значить. Дети вождей после ареста родителей становились детьми врагов народа. Зато появились"позвоночники" - юнцы, коих брали в институты, на престижную работу по телефонным звонкам начальства. А после войны социальные перегородки стали уступать национальным (знаменитый пятый пункт в анкете). С давних пор чуяли странность и в моем происхождении. Но никто не видел во мне, так сказать, социального полукровку. Заподозрили, что я скрытый еврей или полуеврей.

Первый раз это случилось в 1946 году, мне было восемнадцать. Михалков решил дать мои стихи в журнал. "Зачем, Сергей Владимирович? - Будешь указывать в анкетах: "Печатаюсь с 1946 года". В 1966-ом торжественно отметишь двадцатилетие творческой деятельности!" Вызвали в редакцию поправить строки, удивились виду, манерам и стали незаметно выведывать, той ли я нации. "Псевдоним Берестов - из Пушкина, из "Повестей Белкина"? Давайте подпишем стихи вашей настоящей фамилией". Молча предъявляю паспорт. Значит, по отцу все же русский. Но сомнения не кончились: "Все равно подумают: псевдоним взят из "Барышни крестьянки". Поставьте девичью фамилию матери!" "Вас,- говорю,- она тоже не устроит. Телегин! "Хождение по мукам" Алексея Толстого!" Тогда я ничего не понял. А через два года в фельетонах стали раскрывать псевдонимы: Мельников (Мельман).

И вот пришло время, когда чиновников стала волновать знатность уже не предков, а, как говорится, данного лица. "Ваш титул?"- спросил меня комсомольский вожак, который вел концерт в Новом Уренгое. Имелись в виду писательские чины и звания. Я огрызнулся: "Барон!" Или Махачкала, выступление у студентов. Только и слышалось:" Лауреат государственной премии! Российской! Ленинской! Ленинского комсомола! Международной! Имени такого-то! Секретарь! Депутат! Член-корреспондент!" Дошла очередь до меня. "Как тебя объявить? - спросил носитель почти всех титулов Анатолий Алексин. - Что? Никаких званий? Даже диплома?" Полное смятение в президиуме. "Да объяви просто - Валентин Берестов. И посмотри, что будет",предложил я. Отсутствие казенных титулов у единственного выступавшего привело студентов в восторг.

Но мы далеко отошли от раннего детства. Вернемся в дом Кулагина...У отцовского френча с золотыми погонами была своя судьба. Баба Катя сберегла его. "О революции она и не мечтала, свергать не собиралась старый мир...Ее победой этот был мундир." Однажды она приехала с отцовским офицерским френчем, без золотых погонов, с натертыми до блеска медными пуговицами. Это было году в 1933-ем, мне было лет пять, когда живешь в мире сказок, а не политики. Моя доисторическая эпоха!

Мама и все три бабушки разглядывали френч английского сукна, щупали его, надевали на меня, как великанское пальто, босых пяток не видать. Отпороли пуговицы с двуглавыми орлами, и в пуговичных войсках, какими я играл у бабушек, рассыпая по полу содержимое шкатулок и ларцов, появились рыцари в золотых доспехах. Бабушки перекроили френч, шили, примеряли. И наконец на меня надели зеленое пальтишко. Все любовались им и мной, пока я не направился к калитке, чтобы предстать в новом наряде перед приятелями. И тут мама со старушками охнули от ужаса. Новое детское пальто сразу же выдаст чуть не белогвардейское происхождение! Как же они не подумали! Какие пойдут толки! Какие неприятности начнутся у папы! Шедевра портняжного искусства я больше не видел. Да и пуговиц с двуглавыми орлами ни в каких коробках не попадалось.

Проще всех меня разгадал в мои 27 лет Иван Сергеевич Соколов-Микитов, скорее просто русский, чем советский писатель. Послушал стихи, пригляделся к автору. "Ах, вы из Калужской губернии? Моя мама - калужанка. Калужане народ хитрый, практичный. До сих пор ни денег, ни своего угла? Значит, калужская практичность ушла в стихи: все в них подшито, подбито, приколочено где надо. Из Мещовска? Княжество, вассальное то Литве, то Москве. Значит, предки не знали ига. Бабушка - дворянка? Так-так. А предки отца из каких крестьян? Экономических? Значит, крепостными никогда не были. Все ясно! Приезжайте-ка ко мне в Конаково".

Глава вторая. ШПИНГАЛЕТ

ВЗГЛЯД В НЕБО И С НЕБА

Свой оптимизм в шутку объясняю тем, что, когда меня впервые в жизни фотографировали и фотограф сказал: "Смотри сюда, сейчас вылетит птичка!", я каким-то чудом оказался единственным малышом, кого не обмануло такое обещание. Птичка вылетела! И не одна, а целых две Это были галки. Они с криком пролетели над нашим двором. На снимке я с полным доверием к жизни гляжу вверх из плетеной корзинки-коляски.

Хорошо помню часы с черным циферблатом и белыми стрелками на нашем Благовещенском соборе. Еще не мог узнать по ним время, но часто глядел в небо. Туда, где чернели часы и блестели стрелки на фоне то cолнечного сияния, то грозовой тучи, то просто серо-синих милых облаков. После войны, вернувшись в родные места, прежде всего узнавал знакомое небо, весеннее, летнее, зимнее, - оно везде разное.

Все мое раннее детство мама уверяла, что не может понять, почему я вхожу в каждую лужу на улице. А я шел и глядел в небо. Карабкался на горки, лез на деревья. Небо сквозь ветки особенно синее и обнимает голубизной каждую ветку. Потом повадился лазать на крыши. Стоял рядом с трубами, украшенными оторочкой из металлических зубчиков. Тащил за собой приятелей. Глеб Паншин прислал как-то свою книгу и в надписи на ней вспомнил, как я любил смотреть на небо с деревьев и крыш. До сих пор нет-нет да и зарифмуется: "Из-за веток, / В их просветах,/ Синие глаза июля / На меня взглянули".

Долго, почти до старости, следил за превращениями облаков в людей, в зверей, в деревья, в здания и горы. Однажды мы с Таней Александровой гуляли в чахлом лесочке за кольцевой дорогой. Таня пристроилась под деревом и рисовала. Я прилег рядом, глядя то в небо, то на художницу. Иногда она, отрываясь от рисунка, ласково смотрела на меня. И вдруг я ощутил, как сверху сквозь ветки льется тот любящий взгляд, каким на меня до конца своих дней смотрели Таня и мой отец. Сейчас он, как в младенчестве, струился с неба. Это я зову лаской жизни, спасавшей меня в тяжкие дни... Шло последнее лето Тани.

Приходилось ли вам, наклонясь над колыбелью, видеть как лежащий лицом в небо (его основная поза) младенец буквально прыгает вверх, навстречу ласковому взгляду и добрым словам? Ему даже удается на миг оторвать тельце от кроватки. Как он видит вас при этом? Ваше лицо, наклоненное к нему, огромно, оно заполняет почти все пространство над ним. Любящий взгляд льется на него как бы с неба, да и может прийти только с неба. Давно собирался написать про это стихи. а вышла проза:

"Младенчество - это твои глаза, поднятые к небу или потолку. К белому небу потолка и синему сияющему потолку неба. Оттуда возникают лица родных, к которым ты тянешься.Огромные, сияющие, как светила. Лица, похожие сразу на солнце и на облака. А если, проснувшись, видишь черноту ночи, то плачешь, пока не появится в ней родное лицо и не послышится добрый голос.

А когда пройдет младенчество, то и в детстве, и в отрочестве, и в юности мы смотрим в небо, следим за игрой облаков и угадываем в них лица и лики. Ночное небо, а в нем чей-то взгляд, и кажется, что он родной и ласковый, и мы не ужасаемся, что на самом деле это глядит беспредельность, которой, может, нет дела до нас. Мы помним ( это бессознательно еще живет в нас), как родной лик придвигается к тебе, словно родная планета к космонавту. Что-то подобное происходит и в юности: недавно совсем чужое,а сейчас роднее родных лицо."

Да-да, младенческий взгляд вверх и любящие лица родных, все это остается в нас.

Громадные (значит, я совсем крохотный) плети картофельной ботвы. Высоченные, в половину моего роста рыхлые грядки, по ним ведет меня баба Катя: "Смотри, батюшка, как красиво расцвели бобы!" Я смотрю на цветы фасоли, почему-то расцветшие среди картошки, а с высоты льется на меня и на странные цветочки-башмачки любящий взляд бабушки..

Оттуда,с высоты, как с неба, приходили ко мне папины колыбельные, сказки бабы Кати, молитвы бабы Саши. Мама в отличие от отца все песни пела на один мотив. Зато она читала над колыбелью стихи: "Я тогда очень любила Фета. Все время читала тебе Фета. И ты слушал. В общем, не плакал."

Бывшие ученицы папы показали мне альбом, куда в конце двадцатых годов родители вписали по стихотворению Фета. И я точно знаю, какие стихи звучали у моей коляски-корзинки. Вот к ней наклоняется мама:

Все, все мое, что есть и прежде было,

В мечтах и снах нет времени оков;

Блаженных грез душа не поделила:

Нет старческих и юношеских снов.

Не понимаю, что значит: "Пока душа кипит в горниле тела, она летит, куда несет крыло", но радуюсь мелодии маминого голоса. А вот в моем небе лицо папы. Его любимейшее стихотворение у Фета - "Вольный сокол", у кого "рукой прилежной...не холено крыло", "кто с первых дней изведал бури и с ураганами борьбу":

Дразнили молодую силу

И зной, и голод, и гроза,

И восходящему светилу

Глядел ты за море в глаза.

Зато, когда пора приспела,

С гнезда ты крылья распустил

И, взмахам их доверясь смело,

Ширяясь, по небу поплыл.

Кто только ни навещал наш дом: и мамины братья с Урала и из Ташкента, и папин младший брат дядя Ваня с Донбасса. Сколько ласковых глаз сияло надо мной! Привык, что все меня любят, и когда научился ходить, говорить, стучался в любую дверь. "Кто там?" И я, как вспоминают земляки, отвечал: "Валюшка Берестов", с ударением на последнем слоге. Доброта родных и земляков избаловала меня в начале жизни. Став взрослым, никак не мог привыкнуть, что кто-то мне не рад и вообще не ждет от меня ничего хорошего.

ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Еще одно из ранних впечатлений. Та же квартира, где я не усну, пока не услышу папиной колыбельной: "Дверь ни одна не скрипит, мышка за печкою спит." Забитая мебелью комната. На окнах цветы. Большой стол, накрытый скатертью. Коричневые гнутые стулья. Серый свет не то осеннего, не то апрельского дня, на деревьях еще нет или уже нет листьев. И какая-то глубокая печаль. Не хочу этой печали. Она меня тревожит. Она отнимает у меня маму. Вернее, от мамы-то и исходит печаль.

Но вот мама выбегает из комнаты, возвращается, и я чувствую, печаль ушла. Правда, не до конца. Мама показывает письмо. Там строчки для меня и яркая переводная картинка с голубым небом, зеленой травой, играющими детьми и мячиком, папа перевел ее на бумагу тоже для меня. А еще он обещает какой-то гостинец. Мама загибает мне пальцы, показывая сколько дней осталось до папиного приезда. Дает в руки карандаш и водит моими пальцами по бумаге, будто я сам вписываю строки в ее письмо к папе. Это было, когда он в Москве сдавал экзамены в Институт красной профессуры, где учился заочно. Он так и не закончил институт.

У меня есть стихи, как мама сидит и ждет отца, глядя то на ходики, то в окно. Конец такой: "Что такое любовь в этом мире, знаю я, да не скоро пойму". Мама часто перечитывала те стихи. Книжка лежала на столе, открытая на них. "Как ты мог запомнить? Ты ж был такой маленький", - удивлялась она. Но в стихах - калужская квартира, когда мне было лет двенадцать. А маме помнилось ожидание в те времена, когда отец ездил в Москву, и у нее был один ребенок. Мой брат Дима родился в 1931 году, мне было три года. Значит, вспышка в памяти, когда в комнате кроме нас с мамой была только печаль, относится к 1930-му году. Маме запомнилась тоска, до того сильная, что и мне передалась. А мне - печаль. И чтоб она скорее ушла! И чудо облегчения, освобождения от нее.

Еще раннее воспоминание. Мне года три. Большая кухня. Для поросенка в большом черном чугуне варится крапива, для семьи - в чугунах поменьше - щи и картошка. Нарежь ножиком на тарелке горячую картошку, а мама вольет туда холодного молока, только что из погреба. Любимейшее блюдо моего детства картошка с молоком, особенно если картошка в чугуне успела подрумяниться.

И вот молоденькая мама, играя со мной, упала на пол, лежит и не шевелится. Ползаю рядом с ней, трясу, зову, не понимаю, игра это или беда. Мама нарочно притворилась. будто умерла, ей любопытно, как я себя поведу. Стучат ходики. Булькает похлебка. А мама на полу, и глаза закрыты. Может, заплакать? А какой смысл плакать, если тебя не услышат!

И вдруг делается совсем страшно. Будто беда стала неким существом, вошла в открытую дверь и застыла на пороге. Мой ужас передапся маме. Открыла глаза. Над ней - черная от пыли и загара нищенка. Не из тех, кто ходит к бабушкам, не попрошайка "Христа ради". Такая же мать семейства, хозяйка, как и моя мама. Был голод на Украине. Может, той женщине доводилось видеть подобное: ребенок ползает у тела матери. распростертого на полу.

Не помню, было это до рождения Димы или после, когда мы переехали в более просторный дом Кулагиных и съехались с бабой Сашей. тетей Машей и прабабушкой. Они поселились во флигеле. Это давало маме возможность заботиться о старушке Александре Герасимовне, а бабе Саше нянчить Стрекотунчика - Диму.

РАННЯЯ ЛЮБОВЬ

Общество бабушек было для меня куда интереснее, чем общество младенца, спящего в бывшей моей коляске, сплетенной из прутьев. Но, как рассказывали родители, рождение Димы было и для меня огромным событием.

- Кого хочешь? Мальчика или девочку?

- Девочку! - категорически требовал я.

Я, трехлетний, уже любил будущую девочку, создал в воображении некий идеал. И все же мама принесла в дом в первые дни лета не девочку, а мальчика. Я не находил себе места, рыдал и бушевал, потрясенный вероломством родителей. И они, чтоб меня успокоить, пошли на обман:

- Не злись, это девочка!

Обман длился целых три года. На Диму надевали платьица, чаще розовые. А я сидел над его коляской и, подражая папе, пел "девочке" колыбельные. Это и были первые мои стихи. Родители помнили только запев, каким начинались все мои колыбельные:

Спи, моя девочка!

Спи, моя милая!

"Девочка" была кудрявой. Я гладил мягкие светлые кудряшки. И тогда прелестное существо, устав от нежности (брат уже был настоящим, готовым к битвам мальчишкой), тянуло ко мне ручку с острыми коготками и бороздило ими в кровь мое лицо. Соседки и родственницы тоже любили ласкать кудрявого ангелочка. Он терпел, терпел, наконец произносил: "Ну, теперь я разозлился!!" и давай пинать, кусать, царапать своих поклонниц.

Девочка, о какой я мечтал, все же появилась у нас в доме, вернее в дальнем конце флигеля. У нее и ее родителей фамилия звучала как музыка, Словик. Имя девочки я, неблагодарный, забыл. Теперь на Диму можно было спокойно надевать матроску и штаны на помочах. В этом виде он мне очень понравился, мы принялись играть в мальчишеские игры и вести мальчишеские разговоры.

Еще больше я играл с девочкой. В песочнице уже не велись строительные и саперные работы, а пеклись "куличики". В песке красовались осколки тарелок, чашек, блюдец. Торчали петушиные и галочьи перья, подобранные во дворе и в саду. В дождь мы резвились у нас на большой застекленной веранде. Сидим с подругой на полу и глядим, не моргая, друг другу в глаза. Что это? Может, она обучала меня девчоночьей игре в гляделки?

Вечером играли у нас в детской. Однажды, держась за руки, мы прибежали туда из зала и в темноте обнимались, пока не внесли зажженную лампу. Родители привели волшебника. Не помню, как он выглядел. Но не забыть, как кисти его рук на белом сверкающем кафеле печки делались тенями живых зайчиков, птиц, котят, собачьими и лошадиными мордами. Я и сам, закатав рукав по локоть, научился вызывать на стену тень роскошного гуся, он то величаво плыл, то щелкал клювом и клевался. Потом я доставил этим немало удовольствия собственной дочери и внукам.

Возможно. опыт той младенческой дружбы с маленькой соседкой помог мне дружить с дочкой, когда она была маленькой, и понимать ее. Образ и идеал девочки из моего детства вернулся ко мне в виде Маринки, чьим обществом я мог наслаждаться сколько хотел.

В юности меня потрясли стихи Фета, как уезжала подруга его детских игр и как при этом каркнул зловещий ворон. Видно, нечто подобное пережил и я, да забыл , как это было. Может, увезли не ее, а меня, и не Бог весть куда, а в соседний квартал на той же улице.

В 1975 году мы с художником Токмаковым выступали в мещовском педучилище и в школе. Больше всех о нас заботилась студентка Галя. "Почему вы нам уделили столько времени и сил?" И Галя ответила: "Моя мама в детстве жила с вами в одном дворе. Ее девичья фамилия - Словик. Может, помните?"

У ОКНА

О, эти окна в доме Кулагина! В цветочных горшках мамины любимые розовые примулы. Отцветая, они бледнели, синели по краям, сохли, опадали лепестками вниз, пустыми трубочками вверх. На земле, откуда они росли, нет-нет да и взойдут и пропадут крохотные белые ростки и цветоножки комарики растительного мира Листья на красных пушистых черенках сохли, сменялись новыми. Цветы спешили расцвести вновь. Вечная весна домашних тропиков! А где-нибудь в жарких странах, куда на зиму улетают наши птицы, такие примулы растут прямо из земли. Цветы на окне и большой фикус в кадке - словно послы других стран. Мир един!

Окно. отделявшее мир цветов от мира снегов, зарастало инеем, наощупь холодным, на просвет - серебряным с золотыми иголками. Морозные узоры были разными. Но на всех - густой белый лес с белыми ветками, зубчатыми листьями и цветами-звездами.

В кладовке у Кулагина нашлась коробка со стеклянными пластинами, хоть в окна вставляй. На них стояли, лежали, сидели чернокожие с белыми бровями и седыми волосами. И вот, совсем как морозный узор на окне: белый ствол, белые листья и седой африканец в черной майке, - кто-то сфотографировался в лесу.

А если узоры на окнах - тоже негативы? Отпечатаешь их в закутке под красной лампой, белое станет черным, холодное горячим, и вот он снимок джунглей, о которых грезишь, читая про Маугли. ( Я читаю с четырех лет). Я уже знал, что за синим небом лиловеет и чернеет стратосфера. Туда восторженные взоры советских людей провожают стратостаты, похожие на базарные мячики-прыгунчики в сетке из резинок, но мячом вверх. А стратосфера, грезил я , ближе к солнцу, но очень холодна - небесное царство Деда Мороза. Через него каким-то чудом переносятся снимки тропического леса и, коснувшись окон, делаются морозными узорами, Почти все ранние фантазии забыл, а эту помню!

В семидесятых в Поленове мы с Таней Александровой застали бабушку Марфу Сазонову. Она плела кружева, вышивала. Свои узоры брала с морозных окон (так и сказала Тане: "у мороза") и переносила на ткань. Кружева белее инея. Зато на вышивках морозные "негативы", проявляясь, делались теплыми, цветными. В детстве удивлялся, почему люди не берут себе у мороза такую красоту. Нет, брали и на ткани, и на кружева, и на резьбу по дереву. Морозные узоры на стеклах - это как бы вдохновение самой природы. Оно передавалось и людям, украшая их обиход.

Весною и летом обожал запотевшие окна. Взрослые, протерев окна, смотрят сквозь них. И не видят, что стерли со стекла, может быть, самое интересное. Ведь на запотевшем стекле того и гляди возникнет капля. Сквозь нее уже виден кусочек внешнего мира. Капля тяжелеет и ползет вниз, то задерживаясь, то поворачивая. За ней новые и новые капли, похожие на слезы. Мир за окнами после этих слез делается ярче, отчетливей, радостней.

Скатываясь. капли состязаются друг с дружкой, какая быстрей сползет, а какая дольше всех задержится на стекле. Волнующее зрелище! Как-то в шестидесятых подсунул Маршаку, уезжавшему в Крым, томик Милна. И, приехав в Ялту, услышал от старого поэта сделанный в дороге перевод стихов автора "Винни-Пуха" про то, как соперничают капли на стекле: "Кто скорей домчится вниз, та получит первый приз". Английский мальчик даже давал каплям имена. Как же я в детстве до этого не додумался!

А однажды, играя с каплями, бегущими по стеклу, я увидел, как взволнованная стайка женщин ведет домой моего кудрявого братца Диму. Он держит в руке пучок красных веток вербы с остренькими белыми сережками. Шествие останавливается под нашими окнами. Женщины, обращаясь к открытой форточке, наперебой кричат, что Диму хотела украсть цыганка. Зря что ли дала ему вербу! Завидую Диме. Такой кудрявый! Как же цыганке не забрать его в свой таинственный табор! А меня? Я бы и без вербы пошел! Увы, волосы у меня гладкие до отвращения, ни завитка. Кто такого похитит!

Дважды в год , весной и осенью, когда вносились и выносились вторые рамы, взрослые отгоняли детей от окон и устраивали свой праздник. Осенью ловкими движениями забивали коричневой замазкой щели меж деревом и стеклом. Весной брезгливо убирали ломкие, треугольные пластины пережившей зиму замазки. Осенью радостно вносили в комнату и весело мыли вторые стекла. Весной равнодушно, даже не протерев, несли их во тьму кладовки. Осенью с любовью клали меж рамами пухлый слой свежей ваты, покрывали его блестками и полосками цветной бумаги. Весной небрежно бросали в печку то и другое. Лица у взрослых и осенью, когда рамы вставлялись, и весной, когда выставлялись, сияли, как у детей.

С особым чувством взрослые поворачивали выкрашенные белой краской металлические шпингалеты, открывая и закрывая с их помощью форточки и окна. У шпингалетов круглые головки, если их повернуть, поднимались и опускались, и тогда длинный засов свободно двигался в металлической трубке или, наоборот, намертво застывал. Шпингалеты эти почему-то так нравились взрослым, что они и нас, детей, частенько величали шпингалетами, словно мы и впрямь приделаны к окнам, а не сидим возле них по своей охоте.

Во время войны в глинобитной ташкентской "кибитке" я листал том "Литературного наследства", посвященный символистам, в их числе и обожаемому Брюсову. Кто-то из них восхитился , до каких высот или глубин мистики дошел Брюсов, создав запредельную строку: "И упав на седой подоконник". Откуда такое озарение? В ответ вождь символистов молча укзал на покрытый дешевой белой масляной краской подоконник. Все расхохотались. А я, прочитав это, перенесся к окнам своего детства. Нет, там и вправду была какая-то мистика, не говоря уже о медитациях.

ПОД СТОЛОМ

Дом Кулагина...Больше никогда не буду жить в квартире. где есть целый зал с тремя окнами, зеркалом в рост человека и длинным раздвижным столом, который, помнится, мы и не сдвигали. За ним могла разместиться куча народу. На столе всегда свежая скатерть с бахромой или с кистями. Если любоваться этими торжественными кистями с пола или прямо из-под стола, то казалось, что стол накрыт знаменем.

Когда за стол садились мы, дети, скатерть тут же застилали клеенкой. салфеткой, а то и газетой. Вечерами на стол ставили керосиновую лампу. Взрослые, занятые своими делами, незаметно, как им казалось. но мы-то за этим и наблюдали, то подкручивали фитиль, то снимали с лампы тряпкою горячее стекло, протирали его от копоти , подрезали фитиль. Над лампой на потолке был светлый круг, который я любил созерцать.

Под этот стол хаживал я, как говорится, пешком. Перебегал на четвереньках от папиных ног к маминым. Прятался за скатертью. когда нуждался в уединении. Хорошо, если за столом никто не сидел. Но, бывало, за ним полно народу, а все равно влечет под стол, в уют и одиночество.

А однажды визжал, пинал, кусал тянущиеся под стол руки. В тот день, прибежав со двора, я нашел промежуток между стульями и ногами и полез под стол в грязных ботинках. Испачкав скатерть, ощутил себя преступником и ждал казни. Такой ужасной, что даже не мог ее себе вообразить. Взрослых напугала моя истерика, они долго утирали мне слезы и ласкали меня.

Лазать под стол с книжкой не позволялось."Будешь слепондырой!" пророчила мама. Она отнимала книжку или журнал с таким видом, будто я и вправду сию минуту ослепну. "Мам. ну можно я еще почитаю?" Ответом было загадочное и торжественное: "Почитай отца и матерь свою!"

Что ж, лезу под стол без книги. Но все равно жду духовной пищи. Сижу под столом так тихо, что мама перестает замечать меня. Ходит по зале, что-то напевает. Все песни она пела на один мотив, который я при всем старании не мог бы воспроизвести. Не то, что папины колыбельные и романсы. Зато вслушивался в слова: "Я те ударил лопатой, крикнувши: "Черт полосатый!" Ты улыбнулася мне."

Начиная скучать в одиночестве, пела из Вертинского: "О Господи! Хотя бы позвонили, ну просто к телефону подошли!" Но вот мама, очевидно, подошла к зеркалу, оглядела себя и произнесла свое любимое двустишие, каким воодушевляла всю жизнь себя и нас:

За то и Пушкин был любим,

Что был он вечно молодым.

А вот ей, видимо, попалась на глаза газета для учителей "За коммунистическое просвещение" ( папа для краткости звал ее ЗКП). Или журнал без картинок - "Большевик". И звучит единственная фраза политического содержания, какую мама произносила довольно часто: "Граждане социалисты, в кавычках! Я говорил, говорю и буду говорить..."

Так в 1918 году начинал все свои речи гимназист Ваня Пятницкий, когда анархисты во главе с ним ненадолго захватили Мещовск и подняли над городом черное знамя анархии. Советская власть быстро сорвала его с Народного дома вместе с портретом бородатого князя Кропоткина, нашего земляка (под Мещовском его имение Никольское). Ваню Пятницкого посадили в холодную . Это вдохновило гимназистку, мою будущую маму, на единственное в ее жизни стихотворение. Она сохранила в памяти лишь две строчки:

Помните, братья! В темнице холодной

Пятницкий Ваня сидит.

Нечто подобное, но во время империалистической войны сочинил папа и даже напечатал в журнале "Весь мир":

Помните, братья! В деревне голодной

Труженик-пахарь живет.

Вижу из-под стола, как мама перебирает старые письма и открытки. Может, ей попалось послание какого-нибудь очарованного ею гимназиста. И звучит тот самый мотив, на какой мама поет все песни. Бедный гимназист! Наверное, над ним посмеялись:

Я вас люблю. Вы мне поверьте.

Я вам пришлю блоху в конверте.

Из-под стола слышится смех. Мама извлекает меня оттуда и уходит заниматься хозяйством.

Нахожу конфискованную книжку и встаю с ней у большого зеркала, казалось, еще таящего мамино отражение. Картинки, отражаясь, сохраняли смысл. Буквы полностью его теряли, ничего не разберешь.

И еще одна тайна зеркала. Странная вещь! Почему мы помним лица тех, кого видели в детстве, и совсем не помним собственных детских лиц, отразившихся в зеркале, в луже, в колодце? Не нам самим, а другим людям суждено помнить наши детские, а потом юные лица.

ДОМОХОЗЯЙКА

О том, что дома у нас не богатство, а, так сказать, честная бедность, я с удивлением узнал в четыре года, когда начал читать. Книжки любимой дешевой серии "Книга за книгой" стоили 35 и 50 копеек, но покупались редко, все-таки ощутимый расход. Родители считали каждую копейку. Сами снимали квартиру, но одну комнату сдали квартиранту. Специалист по сельскому хозяйству, вечно в разъездах, приезжал ночевать, и то не всегда. Я забегал в его комнату, там не было ничего интересного, кроме журнала "Лапоть" с карикатурами на деревенские темы. Папа снял большую и красивую квартиру, ибо так когда-то полагалось жить учителю, особеннно если он директор. Умом я понимал, что мы бедны, но жизнь в доме все равно казалась роскошной.

Все у нас было праздничным, нарядным, ведь мама стряхивала. сдувала, смахивала каждую пылинку с мебели, а у столов, у зеркала, комода, стульев (часть вещей была наша, часть - кулагинская) по еще дореволюционной моде все было витое, выпуклое, с цветочками, шишечками, шариками. Кровать родителей увенчивалась по углам четырьмя блестящими шарами, в них так смешно отражалось мое лицо. Кружевные шторы. Белые с ажурными прорезями шторки на окнах чисты, свежи, как новенькие. Цветы политы и ухожены.

Что до одежды. белья, покрывал, половиков, то и тут бедности было не к чему прилипнуть, оставить приметы. Мама изо дня в день что-то трясла, стирала. подсинивала, крахмалила, штопала, шила на ножной швейной машине "Зингер". Единственное ее приданое, не считая серебряных чайных ложек и старинной книжки на мелованой бумаге "С севера на юг". С книгой я по малости лет обошелся дурно. Черные рисунки меня не устроили, я их раскрасил, а страницы с "плохими" зверями и птицами удалил. Об этой книжке мама жалела всю жизнь. Видно, любила ее с детства

Мокрым песком или бузиной чистились до блеска все чайники, тазы, рукомойники, никелированые дверные ручки. А до чего вкусны испеченные мамой желто-красные плюшки или весной - жаворонки с глазами-изюминками. Осенью мама покупала антоновские яблоки. клала их на рогожу и солому во всех закутках квартиры. И как славно мешался запах яблок с запахом первого снега из открытой форточки. Зимой на снегу. летом на траве мама выбивала и обновляла половики, она их называла постилками. "Опять постилки спутал!" это драматический припев всего моего детства. Значит, не ходил я по дому, а носился.

У мамы было одно выходное платье, из крепдешина, лиловое, в косую полоску. Голову мыла дождевой водой, распуская перед зеркалом пышные каштановые волосы, которыми очень гордилась. Поймала мой восхищенный взгляд: "Тебе тоже нравятся мои волосы?" "Да! - радостно ответил я. - Ты похожа на Петра Первого!"

Что ни надевал папа, все казалось новым, только что купленным. Ведь старая застиранная светлая рубаха превращалась в корыте с краской в поблескивающую синюю или черную. Папа надевал фуражку и рубаху навыпуск и шел на работу. Я бегал в коротких штанишках с лямками крест-накрест и все лето - босиком. Как бывало, весной ждешь. чтоб земля под зеленой травкой поскорей нагрелась и можно было забыть о башмаках со шнурками, вечно они не вдеваются и рвутся. Зато ноги приходилось мыть в тазу много раз в день, иначе пойдут цыпки, мама их страшно боялась, и босыми ногами пол запачкаю. Совсем не как в любимом анекдоте Рины Зеленой: "Папочка, почему руки моют часто-часто, а ноги никогда?"

Белые носочки с сандаликами надевались редко, так же как и нарядная матроска с бескозыркой и золотыми буквами по ленточке - ГЕРОЙ. Когда я впервые появился в том геройском наряде на улице, мальчишки с презрением посмотрели на новоявленного барчука и процедили сквозь зубы: "Матрос, в портки натрес!" Оскорбление сразило меня наповал, а мама ласково одобрила желание скорей переодеться.

Одно время кроме кур мама завела еще и поросенка Ваську. На него я норовил сесть верхом. Васька сердито нес меня к своему убежищу под верандой. Я соскакивал, а Васька гневно сопел, пока я не начинал чесать его розовое брюхо, отчего он сразу делался добрей. Появились и две козы Валька и Белка. "Валька,Валечка!" - звала мама, и мы с козой наперегонки мчались к ней. Иногда на нее обижался я, иногда коза.

Как-то под крыльцом углядел денежную купюру. Долго и тщательно проталкивал ее прутиком сквозь щелку между порожками к краю крыльца, потом подтягивал к себе. И вот заветная бумажка в руках: "Папа! Десятка!" Мой вклад в семейный бюджет! "Один миллион!" - прочел папа. Я остолбенел. Вот это да! "Или десять рублей", - дочитал он. И рассказал про разруху после гражданской войны, и как страну спас нэп. Новая экономическая политика. Что стало с непом дальше, он не сказал. Миллион я сунул в толстый том отчета какого-то съезда партии, к фантикам от конфет.

Я любил, когда мама во дворе секла капусту, и мне доставалась кочерыжка, или же варила варенье в медном тазу, и я лизал розовые пенки с блюдечка. Гости, кроме родни, бывали редко. Их полагалось принимать с разносолами, вином. сластями. А это удар по семейному благосостоянию. Интеллигенция встречалась в народном доме, где кино, лекции, концерты, танцы, чаек в буфете. Я до седых волос приписывал создание народных домов советской власти, а они были при царе, советское тут только слово "нардом", подобно тому, как Зачатьевский монастырь в Москве превратился в Зачмон.

И все ж с самого утра, проводив папу на работу. мама только и делала, что готовилась принять какого-то желанного, долгожданного гостя. Гостем, кого она каждый день так весело, хлопотливо и заботливо ждала, был папа, идущий с работы. Торопилась управиться к его приходу, прибраться, как она говорила, чтоб папа не застал ее за этой возней, чтоб не увидел ничего неприбранного, и чтоб, не дай Бог, не предстать перед ним в затрапезном виде, усталой и раздраженной. Папа входил своей легкой походкой, Мама принималась расспрашивать о делах, о студентах, сообщала домашние, а также уличные и городские новости, которые каким-то образом успевали стать ей известными. Наверное, приносила их с полными ведрами от колодца, места встреч и как бы женского клуба.

ДОКТОР ЛЕБЕДЕВ

В 15 лет прочитал у Мандельштама, что "мы в детстве ближе к смерти, чем в наши зрелые года" и вспомнил серебряную ложечку, ее сует ко мне в рот друг папы доктор Лебедев. Николай Александрович, гордость, любовь и надежда Мещовска, спас меня от скарлатины и дифтерита. Я сам, как помнилось маме, видя над собой лица родных, невыносимо тревожные и грустные, просил: "Доктора!" Моего брата Лебедев вылечил от круппозного воспаления легких. Пенициллина еще не изобрели. Когда Дима наконец очнулся и чуть окреп, он с яростью поглядел на своего спасителя и сказал: "Это ты меня калял? Ну, сейчас я тебе все твои лампочки перебью!"

Благодарные матери жаждали чем-нибудь одарить Лебедева за спасение детей. Тот не брал ни подарков, ни денег. "Если уж так хочется отблагодарить медицину, - говорил он, - то поухаживайте за цветами у больницы!"

Все лето мама с другими родительницами ухаживала за цветами в больничном дворе, брала и меня с собой. Какие клумбы, какие розы! Я любил белый и розовый табак со сладкой каплей на донышке цветка. Мамы дружно поливали цветы, разбивали все новые клумбы. И, наверное, каждая думала: кабы не Лебедев, она б тоже ухаживала за цветами. Но на могиле ребенка.

На больничном дворе я завел себе друга. И еще охотней ходил за белую, как докторский халат, ограду. Мы тихо играли, беседовали. Беда, что друг жил в другом конце городка, и оба были слишком малы, чтоб самостоятельно навещать друг друга. Я нарочно выходил на перекресток, глядел на бывший монастырь, который теперь называли "Коммуной труда", хотя и коммуну уже упразднили. Ждал появления друга. Мама принесла фото цветоводок на фоне пышной клумбы. Скучая по новому другу, я брал альбом и с радостью находил его лицо на снимке. Сказать мамам, что мы друзья и хотим играть вместе, по малости лет не догадались.

Доктор Лебедев был еще земским врачом и, как я теперь понял, истинным европейцем. Запах одеколона, ослепительные воротнички, и дом европейский, я потом видел такие в Италии и в Америке. В гостиной - картины за стеклом, большие окна, и так весело посвечивали столовые приборы, белые скатерти и салфетки, чьи-то глаза с портретов. Папа ходил в сад к доктору ухаживать за пчелами. Делал он это не только в благодарность за наше спасение, но и для радости. Он любил пчел и восхищался ими. Смотрел на тружениц с тем же уважением, что и на доктора, его жену и дочерей со звонкими голосами и ясными лицами. Хранил в альбоме семейный снимок Лебедевых.

Я ходил к ним нарядный - в белой матроске с синим воротом, в начищенных зубным порошком сандаликах, в белых носочках с синей каймой. Стоял в сторонке и наблюдал, как папа, похожий на бедуина из книги "С севера на юг" (белая марля с откидной сеткой для защиты лица), пыхтя дымокуром, вынимал соты.

Вдруг одна из окуренных пчел давай виться надо мной. Я - от нее. Вот уже калитка. Пчела жужжит за спиной. Бегу по улице. Жужжит, гонится, не отстает. Мне жутко. Что за сумасшедшая пчела! От нее не убежишь, ветер, свистящий в ушах, ее не сносит! Наконец в полном изнеможении рухнул в траву и был ужален. Бедняжка угодила за ворот матроски и никак не могла освободиться.

Однажды я, уже сорокалетний, попал в Торхово, в родную избу отца. Вечером мы пели с учителями и директором Кудринской школы, моим двоюродным братом Шурой. Его мать, тетя Поля, глядя на меня, вспомнила папу. Больше всего ее волновало, зачем юный Митя, приехав на побывку с войны, посадил липу не перед домом, где б она красовалась и давала тень, а в огороде, где от нее никакого проку. а от тени - тем более. А ведь посадил и наказывал не трогать. И в эту войну ее, такую громадину, не спилили, а сколько вышло б дров. "Зачем, деточка, он ее тут посадил? - допытывалась тетя Поля. - Он такое зря не делал. Ты попробуй меду! Вот васильковый, зеленоватый. А это бело-золотой, липовый. У нас лучший мед в деревне!" И вдруг нашла ответ: "Так вот зачем твой отец посадил липу в огороде!"

Был в Лебедеве аристократизм, он не стеснялся держаться барином. И в доме все оставалось по-старому. по-барски. Но в итальянское стекло большого окна любой мог постучать среди ночи. А барские манеры доктора внушали уверенность - вылечит! Впрочем, то, что казалось барством, на деле было независимостью. Лебедев никого не боялся. Попробуй-ка кто-нибудь, даже секретарь райкома товарищ Романовский, без него обойтись, если заболеет!

Тогда весь город поднимал головы на звук самолета. И вдруг самолет покружился и сел на выгон за больницей. Все - туда и я с ними! Самолет с красными крестами на фюзеляже стоял на выгоне. Летчик расхаживал рядом, позволяя любоваться крагами, кожаными курткой, шлемом, очками-консервами.

Санитары на носилках втащили больного в самолет. Один вышел с пустыми носилками, другой улетел с больным. Из стихов и рассказиков, какие мы с прабабушкой слушали по радио, передавая друг другу наушники, я знал, что самолеты за больными посылает Сталин, он спасает их от смерти. В голову не приходило. что это сделал доктор Лебедев.

После войны начальство взялось-таки за Лебедева. Теперь оно от него не зависело. Чуть что, к важному пациенту вызовут специалиста из Калуги или отвезут его туда на машине. Не то, что прежде, когда мама, отпуская меня "в город", умоляла глядеть по сторонам, чтоб не попал под копыто лошади или под колесо телеги. Ненадолго заехал голубой автобус - и событие для всего городка!

Больницей назначили заведовать молодого врача. Лебедева понизили до рядового ординатора. Новый главврач знал. что чиновникам поперек горла популярность Лебедева, независимая манера держаться. Как, мол, перестав быть главным, поведет себя этот гордец? Мещовск полушепотом недоумевал и негодовал. Были и другие горести. И Николай Александрович покончил с собой. До сих пор кто-то заботится о могилах Лебедева и его жены, сажает цветы.

Через много лет напишу стихи про доктора Лебедева, про свои детские хвори, про санитарный самолет, про волшебное царство цветов, шмелей, пчел и бабочек в больничном дворе. То был для меня, малыша, райский сад, и я завидовал больным в серых халатах, что им не нужно уходить оттуда.

ДОИСТОРИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ

И еще воспоминания того доисторического возраста, какой больше всех любил Корней Чуковский, автор "От двух до пяти". Тут можно вспомнить лишь обрывочные, хоть и яркие впечатления. Но их не расположишь во временной последовательности. Помнится лишь, что дело было зимой или летом, а в моем случае, в доме Кулагина или в каком другом.

Раннее, "докулагинское", воспоминание. Мама купает меня в корыте, оно еще кажется мне громадным. Появляется папа и ласково смотрит на меня. Я его стесняюсь. Папа прячется за угол печки. Отттуда выглядывают его веселые глаза. А вот уже "кулагинские". Двор. Поранил ладонь о склянку и вижу свое розовое мясо и белую кость...Конец зимы. Добываю в мусорном ящике пустую бутылку. Приношу домой, наливаю в нее воду, ставлю ветку тополя. Лютый мороз, а на ветке клейкие листочки...

Бегал из дома Кулагина через улицу во двор наискосок. Там жили приятели. Но я помню не их, а лишь испуганные лица взрослых, когда мы принесли из чулана брошюру, на обложке человек в очках, острые глазки, бородка - Троцкий! Помню недоуменные разговоры взрослых: "Рыков-то - всего лишь наркомсвязь!" Но в мировую историю я тогда еще не включился, жил внутри первобытного племени малышей и, если верить Ю.В. Кнорозову, повторял вместе с ними путь человечества - до возникновения государства, письменности и истории - непрерывной памяти общества.

А еще - палисадник с низеньким заборчиком перед домом Кулагина. Он делался волшебным, когда внутри него расцветали синие, желтые, белые аквилегии - водосборы или, как мы их называли, колокольчики. Белая сирень и аквилегии до сих пор самые любимые цветы в Мещовске.

Ах, да! Еще воспоминание. Из дома Кулагиных отец впервые вечером повел меня в нардом, в общество одних взрослых, на концерт московской скрипачки Славы Рошаль и пианиста Вальтера. Его имя я часто слышал по радио, Но слушал и сами пьесы в его исполнении. Вот отец и повел меня на концерт, чтоб пораньше привить вкус к живой классической музыке. Хорошо помню лица обоих музыкантов. Будь я художником, нарисовал бы их по памяти. В момент игры оба казались родными, будто они из нашей семьи и приехали навестить нас с папой. Отец рассказывал: "Ты слушал как взрослый".

Что до младенческих игр и товарищей по играм, то сравню наше детское общение с переживаниями, какие уже в юности испытал, например, в читальных залах. Так много усвоено, принято в ум и в душу, но ничего об этом не помнишь. Может, потому, что все это еще не прошло, не стало воспоминанием, а живет и действует в нас и сегодня.

Так в младенчестве человек вбирает в себя через язык, через игры, их магические считалки и языческие заклички, 37 обращенные к силам природы ("Весна, весна! На чем пришла?"), не больше не меньше как опыт всего человечества, и тут лучше наблюдать за малышами, чем пробовать в самом себе пробуждать эту память.

...Поздней осенью мы с Татьяной Александровой шли по нашей улице Волгина. Подбегает малыш лет двух-трех. На варежке грязный снежок с обрывками травинок. "Комок!- радостно сообщил малыш.- Белый комок!" "Снежок! - разделила Таня его восторг.- Дивный белый снежок!" "Да-да, дивный!!" - возликовал малыш и бросился к родителям.- Смотрите, дивный снежок!" Так в его ум и душу вошли два новых слова. Но разве он когда-нибудь вспомнит об этом? Вспомнит, как сам создал новый, небывалый для него предмет, хотел его назвать и ликовал, когда ему от имени всех поколений народа, на чьем языке он говорит, дали название того, что ему открылось?

Нет, недаром калужские крестьянки зовут малыша батюшкой. Его колоссальная умственная работа, о какой писал автор "От двух до пяти", требует великого уважения.

И другой пример. Тою же ранней зимой или поздней осенью в нашей "зоне отдыха" (ничего себе название!) наблюдал, как малыш пробовал влезть на обледенелую клумбу. Он был сразу Сизифом и Сизифовым камнем: почти наверху, но поскользнулся и - опять вниз. Проделав это много раз и, почти укрепившись на вершине, умоляющим взглядом посмотрел на маму: поддержи, мол. "Ты что? - наставительно сказала нарядная дама. - Забыл, что ты мужчина? Мужчины не просят о помощи!" И посмотрела на меня, вот как я его воспитываю! Малыш прекратил свои попытки, повернулся к матери и гневно произнес: "Ты - пиписка!" Дама подхватила его и поскорее скрылась с глаз долой.

Трехлетних "батюшек" надо уважать! И десятилетних тоже. Для меня было счастьем, когда один мой друг-школьник похвалил меня своей маме: "Взрослые почти не слышат, что им говорят дети. А этот дядя слушает".

НОЧНОЙ ПОБЕГ

Ю.В. Кнорозов считает, что в мире господствует принцип единственного исключения. Тургеневский герой сказал: "У меня нет никаких убеждений!" "За единственным исключением! - возразил другой. - То, которое вы сейчас высказали."

"Как?- удивился я.- А вечный двигатель? Он же невозможен!" "За единственным исключением,- поправил Юрий Валентинович.- Вселенная как таковая. Она и есть вечный двигатель".

Об этом напишу подробнее, когда в мемуарах доберусь до Кнорозова и его теории коллектива. "Исключение лишь подтверждает правило", - это стало поговоркой. Более того. Если нет единственного исключения, то все ваши утверждения, теории, правила - неверны.

А тут единственное исключение сразу для двух утверждений автора этих записок. 1) Я был послушным мальчиком, старался не нарушать никаких запретов. 2) Папа своих сыновей уважал, понимал, был к нам добр и не только не поднимал руку ни на кого из нас, но и голоса не повышал. За единственным исключением...

Я знал, папа вечером уйдет в городской сад. Педтехникум в горсаду прощается с выпускниками. Как же без директора?

Ужинаем одни. Ловлю звуки оркестра из горсада. Хочу к отцу, к музыке, к студентам. Спрашиваться у мамы не стал. Сама не пошла и меня не пустит. Наказаний я не боялся. Папа, как сказано выше, даже голоса не повысит. Мамины шлепки и укоры ( так и слышу "Потеря-я-ял!" или "Рохай!", то есть "рохля") как наказание не воспринимались. Мы просто боялись огорчать родителей. Больно было б увидеть их хоть на миг несчастными по твоей вине. Но мама ничего не заметит. Папа обрадуется и простит. Послушаем оркестр. И вместе вернемся. Мама, конечно, отшлепает, но тоже обрадуется.

Пью топленое молоко из молочника с носиком. Вижу, окно на веранде не закрыто, послушно иду спать. Мама целует Диму и меня, идет к себе. Крадусь на веранду - и в окно! Прыгаю на мокрую от свежей росы травку. Знал бы, сколько преступлений совершаю сразу. Мало того, что сбежал без спроса туда, куда меня не звали. Но явился на люди, на взрослый праздник, в трусах, в ночной рубашке, босиком! И это сын уважаемого человека, директора, мальчик из приличной семьи!

В городском саду ночь, освещенная китайскими фонариками. Оркестр гремел. Студенты танцевали со студентками. Или сидели рядом на скамьях. Студенты курили, студентки грызли конфеты. Ах, какие фантики можно набрать утром, пока сторож не вымел аллею! Папы нигде не было. Меня заметили, сказали, что папа ушел домой. Два студента взялись проводить. Фонарей на Октябрьской улице не было. Сквозь щели в ставнях просвечивали желтые лучи керосинок. Волки могут быть в канаве на той стороне. Сообщаю студентам, что не боюсь никаких волков, но для верности даю руки тому и другому.

Родители были не просто огорчены. Они были потрясены моим поступком. Ночь, а кроватка пуста, неизвестно, где я пропадаю. Но мама не стала меня шлепать. "Ты никогда его не наказывал, - сказала она папе. - Вот и результат!"

Папа молча снял ремень. Даже не знаю, ударил он меня тем ремнем или нет, так как потерял сознание. Дальше - утро, голоса в соседней комнате: "Это крапивница. Уж очень он впечатлительный." И вот ко мне идет папа, такой несчастный, такой старый. Сейчас же развеселить его! Смеясь от радости, тянусь к нему из кроватки. А за окном, как приклеенная, алеет сдвоенная ягодка поспевающей вишни.

После этого окно надолго завесили, я заболел корью. Видимо. мой побег объясняется и тем, что у меня еще вечером поднялась температура, вот и перевозбудился. Но теперь знаю: это принцип единственного исключения, подчеркнул, каким счастливым было детство и как мы любили друг друга.

После смерти прабабушки мы и баба Саша с тетей Машей переселились в белый невысокий домик на той же улице, в квартиру подешевле. Стою на его крыльце и вместе с другими мальчишками приказываю туче, что плывет по ясному небу, сея грибной дождь:

Дождик, дождик, перестань!

Я поеду в Аристань

Богу молиться,

Христу поклониться!

Кричу и чувствую, что делаю нечто запретное, неподобающее. Бог, Христос - все как-то не по-советски. Но сила детства человечества, еще живущая во мне, включив некогда и самого Христа в колдовскую языческую формулу, заставляет и меня, безбожника в стране безбожников, выкрикивать это имя и давать свой детский обет Богу.

Мне шесть лет, и мое детство продолжится уже не в первобытном обществе, а в государстве, в обществе историческом и политическом.

"Дождик, дождик, перестань!"- вспомнилось мне, когда весной 1991 года я глядел с Масличной горы на Иерусалим. Дождик от нашего заклинания в тот далекий день сразу перестал. А я через много лет исполнил нечаянный детский обет Богу.

В храме Гроба Господня я думал о своих бабушках.

Глава третья. В ТАВРИЧЕСКОМ И В ДЕТСКОМ САДУ

УЧУСЬ ЧИТАТЬ

Читать научился в четыре года. Это было очень кстати. Ведь тогда создавалась наша детская литература. Но учился я не по детским книжкам, а по заголовкам серьезных политических изданий - центральной "Правды", смоленского "Рабочего пути" и газеты для учителей "За коммунистическое просвещение" (сокращенно - ЗКП). Заголовки "Известий" не в счет, так как подписчицей была слепая прабабушка. И все же она научила меня первым двум буквам. На иных карикатурах, какие я ей рассказывал, средь бурного моря высился гордый утес с четырьмя буквами по крутому обрыву. "Три одинаковых буквы рядом? - спросила прабабушка. - Не иначе СССР!" Первое прочитанное мною слово!

Газеты приближали ко мне прабабушку, но отделяли папу. Газетный лист заслоняет его добрые голубые глаза. Чувствую, что мешаю ему своими рассказами или расспросами. Но замечаю, что один вопрос ему нравится: "А какая это буква?" Папа охотно отрывается от чтения, отвечает, ищем вместе ту же букву в других заголовках. Заодно вспоминаем буквы, про какие я уже спрашивал, складываем из них слова.

Тут папа спохватился. А букварь для чего? Букварь принесен. Пронзительным голосом выкрикиваю ТИТ, словно зову какого-то деревенского дядю. И давай сперва по складам, потом все бойчей лепетать слово за словом, предложение за предложением. "Мама моет раму",- великие слова, потрясающие своим реализмом! Букварь уже не нужен, а детских книжек с картинками в доме не видать. Это теперь больше всего книг издается для тех, кто еще не умеет читать. И для тех, кто начинает. Дом оказался не готов к преждевременному явлению нового читателя.

Моя четырехлетняя душа от нового источника познания жаждет сказок. стихов и картинок. Утес с надписью СССР на карикатуре в прабабушкиных "Известиях" привлекает сказочностью. Сбросили с него всех этих злодеев в коронах, цилиндрах, папахах, а они, дурачки, все плещутся в бурных волнах под утесом, норовят снова на него залезть. Не видят, что ли, какой он крутой!

А еще хочу стихов! Стихов, полных действия, героев и приключений! Что-то вроде этого иногда слышу на улице:

По улице ходила,

Большая крокодила.

Она, она зеленая была.

В зубах она держала

Кусочек одеяла.

Она, она голодная была!

Сейчас начнутся приключения, забавные и страшные. Явится герой и всех от крокодилицы спасет. Да и чудище перевоспитается! Я не знал, что "Крокодил" уже написан Чуковским, но грезил о нем. В песенке ничего такого нет. Ну, "увидела француза и - хвать его за пузо", а с китайцем поступила еще ужасней. Нудный перечень издевательств над представителями разных народов. А какое было многообещающее начало!

Моя жена тоже научилась читать в четыре года. И жаждала той же духовной пищи. Ее мама, врач, вспоминала для них с сестренкой стишки, прочитанные в дореволюционном детстве:

Пупсику не спится.

Его грызут клопы.

Но он их не боится

И льет на них воды.

Тут хоть в каждой строке что-то происходит. Для чего ж мы так рано выучились читать, если даже таких стишков в книжках не найдешь! Но все переменится! Да уже и менялось, лишь до нас пока не дошло.

В ПОИСКАХ ДУХОВНОЙ ПИЩИ

Сказок! И картинок! Картинок! Нечаянная радость: у папы в книгах нахожу том со скучными словами и снимками, что-то из истории ВКП(б). Вдруг - восторг. Карикатура, кажется, времен III съезда РСДРП - "Как мыши кота хоронили". Котище вальяжно раскинулся. На нем - мыши с человеческими лицами. Очки, бородки, усы. Кот дохлый. Чего бояться? Но вместо морды у него хитрое лицо Ильича, коготки наготове. Ну, сейчас будет! Я еще не знал народного лубка, каким до меня услаждались русские дети, и все же смутно угадывал сказку сквозь всю эту политику.

Начал читать уже не одни заголовки, но и заметки, как тогда говорили, не смущаясь мелким шрифтом. Сам доставал газеты из почтового ящика у калитки. Первым делом смотрел, есть ли в конце колонка "Происшествия". Если была, радовал маму. Ничего другого она в газете не читала. Я же любил рубрику "Маленький фельетон" (больших почему-то не было). До сих пор помню фразу Михаила Кольцова , как при царе гувернантка запрещала воспитанницам глядеть в окно, потому что по улицам бегают голые лошади. И, смеясь, глядел на голых лошадей из кулагинского окна.

У того же окна, снимая со шкафа номер за номером, листал свою находку - роскошный иллюстрированный журнал (названия не помню) 1917 года. Номера, вышедшие между февралем и октябрем. Сверкающие глянцем страницы. Квадратики тонкой папиросной бумаги вроде занавесок. Приподняв такую занавеску, можешь любоваться цветным фото, аккуратно наклеенным на страницу прямо в типографии. Превосходные снимки! Я-то считал, что их еще не изобрели. что такие фото будут лишь при коммунизме. А они оказались пришельцами из прошлого.

На снимках ладно одетые веселые люди с красными кокардами, красными бантами, Везде красные флаги: в руках, на домах, на броневиках, на штыках. Странно, что красным флагам рады самые настоящие буржуи, гимназисты из богатых семей, румяные юнкера и кадеты, офицеры-золотопогонники. Что это за революция, если они рядом с принарядившимися рабочими и работницами, если никто никому не враг, никто никого не убивает, даже немцы лезут из окопа брататься с нашими солдатами. Даже царская семья, граждане Романовы, гуляет по чудесному саду в сопровождении любезных офицеров. А где ж враги народа? Кого тут надо убить, чтоб не убили тебя? Но я уже знаю, это неправильная революция, она обречена вместе с роскошным журналом и цветными фото.

Сколько в двадцатом веке будет таких снимков с людьми разных стран, увидевшими наконец желанное светлое будущее. Оно и вправду иногда приходило и длилось как раз столько, чтобы фотографы успели его запечатлеть.

Я искал сказку, таковы были великие духовные потребности малого возраста. От цветных снимков все-таки веяло сказкой, Но сказкою взрослой, где за хорошим концом, за пиром на весь мир, опять идет неизвестно что.

Странное дело! Сказку отдали взрослым. Так и пели: "Мы рождены, чтоб сказку сделать былью". А нас, малышей, решили сделать реалистами. Надежда Константиновна Крупская, жена Ленина, уверяла, что, взяв в руки "Крокодил" Чуковского, рассчитывала найти в книжке полезные рассказики для детей о жизни крокодилов. И что же она прочла вместо них! Даже слово такое появилось - "чуковщина". Мой папа, педагог, конечно, знал обо всем этом. Но чуковщина вошла-таки в наш дом!

"ВОТ ТЕПЕРЬ ТЕБЯ ЛЮБЛЮ Я"

Как я тосковал по сказкам. а попадалась одна политграмота. Но я и тут норовил создать сказку. Хрестоматия с ужасными, плохо пропечатанными чернобелыми рисунками. И вдруг живые куплеты, человеческие слова: "Сыну беленькому мать стала песню напевать...Сыну желтенькому мать стала песню напевать...Сыну черненькому мать стала песню напевать..." Кажись, в этих стихах Агнии Барто был и красненький малыш-индеец.

Революционные призывы к младенцам всех цветов кожи, не запомнились. Помнится сказка. Рисунки смазанные, черты матерей и детей плохо различимы. В стихах указан цвет кожи лишь у младенца, а не у матери. И чудилось, будто у одной мамы родились друг за другом беленький, черненький. желтенький и красненький ребенок, Как им, наверное, весело вместе! Счастливая семья! Счастливая мать! (Нечто подобное увидел недавно в фильме моего друга Владимира Меньшова "Ширли-мырли". На просмотре радовался больше всех, словно и в самом деле сбылась одна из сказок раннего детства, которая тогда только угадывалась).

Но мне, раз уж научился читать, нужны какие-то особые, нынешние сказки с картинками. Первая такая книжка - "Мойдодыр" Чуковского. Папа взял у кого-то неплохо сохранившееся издание двадцатых годов. На обложке пожарный в каске поливает из "кишки" голого толстенького мальчишку. Тот жмурится от блаженства. А вдали лошадь с пожарной бочкой. От нее-то и тянется шланг. Значит, искупать того мальчишку такое же срочное и важное дело, как потушить пожар.

Что же случилось? "Одеяло убежало, улетела простыня. И подушка,как лягушка, ускакала от меня". Стихи звенят, поют, текут. звучание у них сладостное. Подсчитайте, здесь на тридцать гласных приходится столько же согласных. Звуки, говоря словами Пушкина, "почти италианские". Не знаю, сколько раз перечитал "Мойдодыра" в первый день нашего знакомства с ним.

И еще рисунок запомнился на всю жизнь. Слева два неряхи, толстый и худой. Не важно, из каких они семей, пролетарской или буржуазной, важно, что неряхи. А справа на них гневно указывают пальцами коротышка-художник с карандашом за ухом - Юрий Анненков и сидящий носатый и волосатый гигант с длиннющими ногами в полосатых штанах и черных башмаках великанского размера - сам Корней Чуковский. Так я узнал и, с полного одобрения папы, полюбил этого человека, не подозревая. что он через восемь лет спасет мне жизнь и навсегда ее направит.

Как ловко перехитрил Чуковский руководящих дядей и теть! Они-то думали, что "Мойдодыр" всего лишь полезная книжица, побуждающая малышей содержать в чистоте лицо и руки. А это захватывающая, магическая, очень страшная история, но с ликующим, праздничным, счастливым концом.

Особенно нравилось, как, спасаясь от бешеной мочалки, неряха очутился в каком-то сказочном саду ("Я к Таврическому саду, перепрыгнул через ограду. А она за мною мчится и кусает, как волчица"). И встретил там не лучезарную фею Чистоты, а Крокодила с сыновьями Тотошей и Кокошей. Крокодил спас героя (мне казалось, что меня самого!) от разнузданной мочалки. Он ее проглотил! А затем в одном из красивейших мест Ленинграда. в дивном саду, где чинно гуляют одетые по последней моде крокодильчики, их папа заклинает несчастного сей же час пойти домой и умыться, ублажить разгневанный умывальник со страшным именем Мойдодыр. "А не то как налечу, говорит, растопчу и проглочу. говорит".

В 1947 году, впервые приехав в Питер. я с волнением узнавал, бродя по городу, давно милые сердцу улицы, мосты, сады, памятники, здания. И вот литая решетка Таврического сада. Почему я так волнуюсь? Больше, чем перед оградой Летнего сада! Ах, да! "Мойдодыр", детство. Сколько раз я мысленно через нее перепрыгивал!

Теперь, когда вышел "Дневник" Чуковского, можно узнать, что было с автором бессмертной поэмы в те самые дни 1932 года, когда я упивался ею. Запись от 22 декабря. "Ездил на это время в Москву с Ильиным и Маршаком на пленум ВЛКСМ. В Кремле. Нет перчаток, рваное пальто, разные калоши, унижение и боль. Бессонница. Моя дикая речь в защиту сказки. Старость моя и обида."

Прошло несколько лет. Кинохроника. Пионеры в панамках, с барабаном маршируют к Парку культуры и отдыха. Над ними на двух палках лозунг по кумачу - МЫ ИДЕМ СЛУШАТЬ ЧУКОВСКОГО! А в Дневнике - опасения: вдруг откуда-то "спустили" указание срочно полюбить Чуковского. Но этого добились мы, дети тридцатых годов. Никаких перегородок! Дети рабочих и директоров, арестантов и чекистов, профессоров и домработниц. Мы все полюбили его. Дети и внуки вождей - не исключение. А малыша двух-трех лет не объявишь английским или японским шпионом, двурушником или троцкистом. Не то, что взрослого!

В1962 году Чуковский вернулся из Кремля, ему вручили Ленинскую премию. Хрущев подошел к нему со словами: "Вот кого я ненавижу! Придешь домой, а внуки с вашими книжками: "Дед, читай!"" Корней Иванович сначала опешил. Он помнил, как когда-то все члены советского правительства написали статьи против его сказок. О единственном исключении упомянул тогда Маршак:

И только хранит молчанье

Почтенный наркомпочтель.

То есть, народный комиссар почт и телеграфа.

Мы, малые дети, тоже приняли участие в борьбе за сказку. В том числе и я. Один из таких боев, так сказать, местного значения, мне запомнился.

В СТРАНЕ ГОРБУШЕК И АЛЬБОМОВ

После Первого мая 1934 года меня, шестилетнего, отдали в детский сад. За небольшую плату на весь рабочий день государство рабочих и крестьян заменяло мне родителей. Часы, которые я проводил дома с мамой и бабушками или на улице в играх с себе подобными, я должен был отбывать под непрерывныыым наблюдением и опекой воспитательниц и нянечек, а также директрисы, наблюдавшей за ними.

Теперь понимаю, причина - болезнь угасавшей прабабушки. Родители хотели уберечь меня от тяжких впечатлений. Маме с бабой Сашей и тетей Машей проще ходить за Александрой Герасимовной, когда меня нет дома. Кроме того, я привык утром у прабабушки. слушать детскую передачу, рассказывать ей новые карикатуры. В доме - горе, старушка каждый час могла умереть. Взрослые хотели, чтоб я этого не знал и ни о чем не догадывался.

Папа повел меня на первомайскую демонстрацию. Вышло так, что я стоял совсем рядом с детсадовцами, когда они, лихо цокая, проскакали перед трибуной верхом на палочках, увенчанных конскими мордами, белыми и рыжими, с черными гривами и огромными прекрасными глазами. И захотелось в детский сад, чтоб седьмого ноября сесть на боевого коня, а с трибуны и мне помашет секретарь райкома товарищ Романовский. Впрочем, он помахал мне рукой, когда папин студент дал подергать за веревочку фанерного поджигателя войны. Поджигатель в черном фраке и в цилиндре тоже махнул на секретаря райкома бомбой и мешком с деньгами. Знать бы, что и мне в детсаду суждено стать поджигателем войны.

Тогда был обычай после демонстрации катать малышей на грузовиках. В единственный мещовский грузовик с визгом набилась организованная детвора из детсада. Вернулись совершенно счастливые. И в грузовик полезли тихие девочки и мальчики из детского дома. Мы, домашние, завидовали им. "Хочешь. к ним?" - спросил папа.

Столовая. Длинный стол, составленный из столиков, накрыт клеенкой. Металлические миски, тарелки и кружки, - такую посуду не разобьешь. Одинаковые порции зеленого горохового супа и белой каши, политой розовым киселем. Тут не скажешь как дома "Того не хочу, этого не буду!" Мы и не говорили.

Зато поднос с ломтиками черного хлеба открывал кое-какие возможности для проявления личности, если словчишь и тебе повезет. Заполучил горбушку и можешь, вынув мякиш, сделать из оставшейся корки плоскую коробочку без одной стенки, Пусть те, кому не досталось , смотрят и завидуют, пока не дожуешь. Страсть к горбушкам пропадала дома. Там их сколько влезет, но они больше не знаки отличия и превосходства! А утром, идя в детсад, опять мечтаешь о горбушке.

Детский сад отличался от семьи, где большие и маленькие, мальчики и девочки - все свои, всех знаешь и помнишь. А здесь для тебя малышей, Диминых ровесников, будто и нет. Своя нянечка, свои игрушки, своя комната с кроватками и горшками. И с девочками не очень подружишься. У них свои куклы, свой план занятий, я их и не помню, словно девочек в детсаду не было. Но я и про горбушки забыл, когда разглядел на шкафу в столовой сокровище - подшивку журнала "Мурзилка" за целый год!

Главным смыслом моей жизни в детсаду, главной мечтою стало раздобыть это чудо со шкафа. А вдруг Чуковский написал что-нибудь новое? Или Маршак? Я уже знал "Человека рассеянного":

Глубокоуважаемый вагоноуважатый!

Вагоноуважаемый глубокоуважатый!

Во что бы то ни стало

Мне надо выходить.

Нельзя ли у трамвала

Вокзай остановить?

Чудо! А ведь удивительный человек, о ком шла речь, (говорят, это академик Каблуков) тогда был жив-здоров и преподавал химию в университете. Папа, приезжая из Москвы, потешал меня его оговорками: "Видите? В этой колбе что-то черненькое белеется." А еще в журналах могли быть сказки и уж точно - головоломки, ребусы и рисунки, на которых главных героев надо искать, художники умело их маскировали среди листвы, облаков и т. п. Словом, каждое утро я мчался в детсад в надежде, что уж сегодня подержу в руках заветную подшивку, рассмотрю все картинки, разгадаю головоломки, упьюсь стихами и сказками.

"Нельзя!" - отвечали воспитательницы, строгая и подобрей. И нам не давали и сами не читали вслух заколдованную "Мурзилку". Вместо этого они проводили политбеседы. Например, об ударниках, о пятилетке в четыре года. Хорошо, что стихи не разучивали: Первомай прошел, до Октября далеко, про лето учить еще рано, про весну поздно. Но дело для нас нашлось.

Мы получили домашнее задание - вырезать из газет и нести в детсад снимки ударников и строек, трактористов и силосных башен. Жаль было смотреть на изуродованные рваными пустыми окнами газеты! Жаль тяжелых альбомов с глянцевитыми листами! Фото на вырезках серые, мутные и, если приглядеться, все в точечках, редких там, где небо, и густых там, где лицо или машина. Края вырезок желтели от клея. Листать альбомы было противно.

А мы так любили индустрию! Если б в один прекрасный день у нас в Мещовске задымили фабричные трубы, воздвиглись черные пылающие домны, по улицам загромыхал поток двухэтажных автобусов, а все дома стали хотя бы шестиэтажными, то не было бы людей счастливее нас! А с каким счастьем мы бы все это нарисовали! Но краски, видимо, экономили.

Можно было б вырезать из газет не снимки, а карикатуры. И смешно, и смотрится хорошо! Зато добрая воспитательница стала обучать нас лепке из глины. Ничего идеологического! Хороши были б вожди, ударники и борцы революции, слепленные детскими пальчиками. Другое дело уточки, медвежата, поросята. Жаль, цвет однообразный. Искал на обрывах, в канавах цветную глину, нашел голубоватую. Но тут вместо лепки нас стали учить хоровому пению.

Что же до альбомов, то их сразу куда-то уносили и мы больше их не видели. Наверное, в подарок почетным гостям на слеты и конференции. А мы клеили новый альбом - "Счастливое детство". Не детсад, а какая-то артель по клейке фотоснимков!

ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ И КОТ КОТОФЕИЧ

При взрослых я старался не глядеть на шкаф. Про желание взять в руки подшивку помалкивал. Не спеша приглядывался к распорядку, тщательно обдумывал план овладения подшивкой. Подыскивал себе болезнь, при какой не ставят градусник, не прижигают иодом, не дергают руку или ногу, вправляя вывих.

Наконец сказался больным ("Голова болит!"), лег в постель и ждал, пока наша группа с песней не выйдет на улицу. Уже в семидесятых годах в зимнем профилактории на месте летнего детского лагеря прочел забытый на стене распорядок, где каждый день до обеда главным пунктом значилось "Подготовка к мероприятиям". Район у нас сельский, на мероприятиях лучше петь про село:

Косилка, молотилка, сортировка, веялка.

А за трактором идет рядовая сеялка.

Песню уже не слыхать. Директриса с поварихой заняты разговором на кухне. Прокрался в столовую. Пододвинул к шкафу стол, водрузил на него табуретку. Осторожно влез на то и на другое. Снял со шкафа тяжеленную пыльную подшивку. Бережно спустился с ней на пол. Поставил на место мебель, вернулся в кровать и погрузился в чтение.

Не все интересно. Кое-что вроде наших политбесед. И вдруг Андерсен. "Принцесса на горошине": "Жил-был принц, и хотелось ему взять за себя принцессу, но только настоящую".

Такое можно встретить лишь в старых книгах с ятью и фитой. Как эта сказка проникла в советский журнал? Невозможно представить, чтобы наши воспитательницы прочли ее нам. Надо думать, какие-то любящие детей редакторы "пробили" ее в печать, выдав невинную сказочку за сатиру на монархов. А я радовался, что юная особа с честью выдержала испытание. Не могла заснуть, почувствовала горошину в кровати сквозь двадцать пуховиков и двадцать тюфяков. Что значит настоящая принцесса! Ну, просто ударница!

В той ли подшивке или потом, в других номерах "Мурзилки", прочел одну из сказок дядюшки Римуса. Братец Кролик, сам того не подозревая, до полусмерти напугал братца Лиса, поджидавшего его под мостом, чтобы поймать и съесть. Братец Кролик накупил на базаре всяких там мисок, кастрюль, сковородок, ложек и вилок, нацепил их для удобства и для радости на себя и так весело громыхал, дребезжал, звенел всем этим, проходя по мосту, что перепуганный Братец Лис ринулся куда глаза глядят.

Там же нашел сказку про Кота Котофеича. Хозяйка за шалости завела его в лес и бросила. А он своим необычным видом нечаянно очаровал лису, поселился в ее домике и, сам того не ожидая, так напугал волка и медведя, пришедших на него посмотреть, что те поверили лисе, будто Кот Котофеич и впрямь прибыл из сибирских лесов ими, зверями, управлять.

Прочитав эти и подобные сочинения в утаенной подшивке запретного журнала, я сделался у себя в группе как бы носителем тайного знания, запретной магии, У меня еще не раз "болела голова" и потому полюбившиеся стихи и сказки я запомнил наизусть и щедро делился ими с ребятами. Сказку про Кота Котофеича и Кролика, идущего с базара, всю жизнь рассказываю малышам.

Почему нам не читали "Мурзилку", сообразил лишь через много лет, когда сам начал писать стихи и сказки для малышей. А вот зачем ее выписывали? По разнарядке? По отпущенной на подписку смете? В надежде, что журнал, наконец, приструнят? Как теперь понимаю, принцесса на горошине не могла стать образцом для советских девочек. А лишь образцы, примеры для подражания выискивались в книгах и журналах воспитателями и методистами. Уж не говорю про Братца Кролика с Котом Котофеичем. А если они-то и стали для меня примерами и образцами? Так ли уж надо всегда дрожать и всего бояться? Я в своей жизни не всегда дрожал и боялся. Может, это меня и спасло?

ПОДЖИГАТЕЛЬ ВОЙНЫ

Осуществив мечту о заветной подшивке (я поглядывал на шкаф глазами тайного обладателя), вспомнил о палках с лошадиными головами. Погарцевать на них можно, не дожидаясь демонстрации. И вот однажды, пользуясь властью, какую приобрел как секретный читатель запретного журнала, я повел мальчишек к чулану, где томились наши кони. Коней хватило на всех. И на зависть малышам из младшей группы мы с гиканьем поскакали в глубину детсадовского двора.

К воспитательницам не обращался, все равно не разрешат. Искал одобрения почему-то лишь у толстого солидного Аркашки, шутника и насмешника с оттопыренной губой. Он покорял нас своими задачками с подвохом. Например: когда лошадь покупают, какая она бывает? Поди сообрази, что дело не в покупке, а в купанье, и надо отвечать: "Мокрая!" Аркашка весь просиял и первым очень уютно уселся на деревянного коня. (Когда в 1943 году в Ташкенте я увидел на сцене Алексея Толстого, почему-то тут же вспомнил своего Аркашку).

Очень скоро мне, полководцу, и Аркашке, комиссару, прискучили смотры, парады и даже скачки. Что это за красная кавалерия, если она не мчится в бой! Но для боя нужны враги. И - о, счастье! - они нашлись. Да такие, что лучше не придумаешь. Наш двор задами примыкал ко двору детского дома, отделеннному от нас глубокой канавой. И мы принялись с громким цоканьем гарцевать на краю канавы, махая саблями , взнуздывая или торопя горячих коней.

Пешие детдомовцы нашего возраста и постарше в одинаковых серых куртках и штанах подошли к пограничной канаве. Сперва они глядели на нас с восхищением, потом с завистью, потом с угрюмой ненавистью. Наконец, они не выдержали и пустились швырять в нас камнями, осколками кирпичей и комьями земли. Наши чуть было не спешились и сами в ответ не взялись за камни. Но мы с Аркашкой закричали, что витязи, рыцари и красные конники так не поступают. И вообще, драка камнями - нечестная драка, а честь дороже, чем сама жизнь. (Я настолько уверился в этом, что за все детство ни в кого не кинул камнем).

Под градом камней мы продолжали скакать, помахивая саблями и громким криком уличая детдомовцев в нечестности и трусости. Не помню, появились ли среди нас раненые. но кони у нас были отняты подоспевшими воспитательницами и нянечками. За мной явилась сама директриса.

Скажи она тогда, что стыдно дразнить сирот, когда у тебя есть мама, папа и бабушки, это бы меня потрясло. Но совесть в связи с этим случаем проснулась, когда я уже был взрослым. Мне до сих пор стыдно за того хвастливого мальчишку-предводителя. Но директриса сообщила, что давно подозревала во мне хулигана, а теперь окончательно убедилась: сын уважаемого человека, директора техникума, - отъявленный хулиган. В надежде, что я попытаюсь исправиться, она пока ничего не скажет отцу. Смотрела на меня директриса с опаской и даже с неким уважением, как смотрят на того, кто непредсказуем и способен на все.

С тех пор директриса стала приглядывать за мной. А нужно сказать, что я переученный с младенчества левша. Наверное, я так слушался мамы и бабушек, что покорно брал ложку или карандаш в правую руку, а левую, как мог, укрощал. Левая у меня и сейчас сильнее правой и временами лезет, куда ее не просят. Она охотней, чем правая, жестикулирует, а в детстве первой отвечала на нападение, смущая драчунов. Дочь моя Марина - тоже левша. Директриса, а за ней остальные взрослые стали замечать каждое мое неловкое движение, Прислушивались и к высказываниям во время игры. Вечно я что-нибудь делал не так и говорил не то.

НА РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ГОРКЕ

Как-то по пути в детсад я подумал: если я доставляю людям столько огорчений, то могу их от этого избавить, перестав торчать у них на глазах. И свернул на Рождественскую горку. Там высился похожий на каменную елку храм семнадцатого века. Валы и овраги ограничивали древнее городище. Кудрявились высокие деревья в оврагах и в садах немногих счастливцев, живших в том сказочном месте.

Каждое утро я вместо детсада шел на Рождественскую горку. обходя церковь, где мог встретить своих бабушек и их подруг-богомолок в белых и черных платках. Но бабушки молились на домашние иконы, ухаживая за бедной Александрой Герасимовнеой. А богомолки, замечая меня, наверное, жалели всех нас. Какая же беда пришла в дом, если внучонка занесло так далеко.

Я залезал на развилку самого большого дерева, уютно располагался в ней и принимался грезить, глядя на купы деревьев внизу и облака вверху. Если б и впрямь где-нибудь росли зеленый дуб у Лукоморья, Древо Жизни или Мировое древо, то на вершине каждого из них непременно сидел бы мальчишка.

Папа увлекался краеведением. Я знал, что больше века наш Мещовск входил в Великое княжество Литовское, тем самым уклонившись от ига Золотой Орды. У нас есть даже село Конецполье, что, может быть, означало Конец Польши. Наверное, литовский гарнизон стоял здесь, за частоколом, на Рождественской горке. И я воображал себя то часовым, то лазутчиком, а чаще всего - путешественником, которого занесло на далекий остров, загадочный и прекрасный.

Забавно. что уже тридцати с лишним лет я очутился в Вильнюсе, вышел на рассвете из гостиницы полюбоваться иною страной, пока она еще пуста и наполнена виденьями истории, молча дал прикурить раннему прохожему, услышал благодарность на чужом языке и вопрос: "Голиндас?" О племени голядь, жившем в калужских сосновых борах, я как археолог знал. Потомки голяди еще различимы среди литовцев, и я похож на них.

Теперь, когда столько русских, никуда не уезжая, оказались за пределами России, было бы важно знать, а как в тех условиях развивалась русская культура. Ведь история Мещовска на протяжении его литовского века, конечно же, была интересна и поучительна. Мы связываем нашу историю лишь с Владимирской и Московской Русью. А как насчет отвергнувших ордынское иго новогородских и псковских демократов и смоленских подданных Литвы? Или они не русские и ничего не создали для России?

ДЕВЧИЙ ПОП

С местными мальчишками решил не связываться. Давал им понять, что я здесь случайно. Ни врагом, ни другом, к сожалению, быть не могу. Старался забираться на свои деревья так, чтоб мальчишки не видели. Зато девочек не боялся. Они тут все ходили в золотых венках и браслетах из одуванчиков и любили водить хороводы: "Как на Лидины именины испекли мы каравай". Какие-то у них вечные именины!

Одна большая девочка предложила вместе плести венки и делать цепи из одуванчиков. Цепи у меня выходили неплохо. Отламывал головку цветка и совал верхнюю, узкую часть стебля в нижнюю, более широкую, часто красноватую или лиловую. Плел звено за звеном. Девочка, сидя рядом в уже подросшей траве, превращалась в пленницу, опутанную цепями с головы до ног.

Это не мешало ей плести венки и время от времени торжественно короновать меня. Водрузив золотую корону с цветами в несколько рядов на мою стриженую голову ( всех детей стригли во избежание вшивости, и лишь светлые, благоухающие мылом кудри моего братца Димы мама ни за что на свете не позволила бы остричь), девочка отодвигалась, чтобы полюбоваться моей неожиданной красотой. Просила, как бабушки-портнихи встать, повернуться туда-сюда и бралась за новый венок.

- Девчий поп!- кричали, пробегая, местные мальчишки. Не обращаю внимания. Я ж не здешний, никакое ваше прозвище ко мне не пристанет, дразнитесь, сколько хотите.

Плести венки так и не научился. То левая рука не туда полезет, то правая беспомощно ткнется. Так и не постиг, каким чудом вороха цветов превращаются в плетеные обручи с тройным золотым гребнем поверху. С тех пор одуванчики стали любимыми цветами. Счастлив их видеть и в мае, когда они разливаются золотыми ручейками, расстилаются золотыми коврами. И поздней осенью, когда у них нет сил на то, чтобы выгнать стебель, и они, как ордена или брошки, приколотые прямо к земле.

Как-то мы с Таней Александровой оставили на балконе четвертого этажа в Черемушках горшок с землей. Занятно, что в нем вырастет без нас, само по себе? Роскошный куст одуванчиков! Не раз воспевал их стихами. Воспел и девочку с венками. И что же! Не я один помню те блаженные часы. В 1975 году, уже седой, читаю стихи в Мещовске. Полная немолодая женщина крикнула из рядов: - Спасибо, Валя, за стихи про одуванчики! За память! - Кто вы? Та самая. Из ваших стихов. "И девочка сидит, венки плетет".

В детсаду, наверное, уже обед. Ищу в траве щавель. Жую сладковатые молодые листья липы. Обдираю толстые, нерасцветшие стебли с колючей кожицей, счищаю ее и грызу "столбушки", как зеленые конфеты. Неплохи белые основания стеблей осоки и других трав с острыми листьями. И прощаюсь с Рождественской горкой.

ЖИЗНЬ СЮЖЕТНА

Лучше всего задворками пробраться к дому папиного друга Дмит Петровича Позднякова. В городе их так и звали, Позднякова - Дмит Петрович, папу Дмит Матвеич. Они олицетворяли братство естественных и гуманитарных наук. Поздняков преподавал физику, папа - историю.

Валя Позднякова, первоклассница, уже пришла из школы. В кровати за печкой под образами - ее больная бабушка. Не могу сказать, знали они мою тайну или нет, но про беду, конечно, знали. Кормили обедом. Валя играла со мной. Старушка развлекала разговорами. Ее оживляли мои приходы, и она задерживала меня, беседуя о политике и строительстве коммунизма. Беседы наши сразу делались известными Дмитрию Петровичу и Августе Александровне, когда они приходили с работы. Они тоже, наверное, нарочно задерживали меня, мало ли что ждало меня дома..

Беседы с Валиной бабушкой, забыл начисто. Но Дмит Петрович не забыл. И напомнил одну из них, когда в 1967 году судьба загнала меня в Мещовск. Разбился знаменитый самолет "Максим Горький". Мы с Валей опустошили свои копилки, внеся посильную лепту на постройку нового самолета-гиганта. "Бабушка, не горюйте! - утешал я старушку. - Новый самолет будет еще больше, чем прежний!"

Ах, если б я мог сказать, что и летчиков воскресят! Но мы со старушкой из взаимной деликатности не затронули эту тему. Когда Дмит Петрович рассказывал, я думал, что мы больше живем в чужой памяти, чем в собственной. Те, с кем встречались в жизни, вместе взятые, знают о нас лучше и больше, чем мы сами.

Теперь уж никто не знает, сколько дней я делал вид, будто хожу в детсад. Что-то не припомню, где и когда я прятался от непогоды или обдувал пух хоть с одного седого одуванчика. Может, мое отщепенство длилось каких-нибудь три-четыре дня? Но время на Рождественской горке и вообще в детстве текло так неспешно. что кажется, будто целый месяц там не отцветали одуванчикит и шли по теплому небу белые облака.

И вот мы дома за ужином. Папа, не стесняясь моим присутствием, рассказывает маме про встречу с директрисой. Она спросила, прошла ли у меня голова и не менингит ли это. Папа спросил про меня. Та ответила, что я хулиган! "Валя - хулиган?" - рассмеялись родители. Согласились, что больше не пойду в детсад, и подписали на "Мурзилку" с июля. Но уже по другому адресу.

Когда прабабушку хоронили, одуванчики еще цвели. Значит. она умерла, когда я бегал на Рождественскую горку и к Поздняковым. От самых страшных впечатлений меня уберегли. А от скольких преждевременных душевных ран упасли меня Принцесса на горошине, Братец Кролик и Кот Котофеич!

Жизнь сюжетна. Сочинив первые стихи для малышей, я, напечатал их, конечно, в "Мурзилке". Вышла книжка "Про машину". с картинками Конашевича, он в моем детстве иллюстрировал "Муху Цокотуху". В книжке ласковая девочка играла с машиной в свои уютные игры, кормила, лечила, пела колыбельные вместо того, чтоб завести ее и насладиться быстрым и шумным бегом. И в журнале "Дошкольное воспитание" появилось письмо всех методистов Ленинграда: "Берестов учит детей ставить машину грязными колесами на чистую кровать!" Были и другие письма. На все лады обыгрывалось слово "гонорар", ради чего я будто бы и хлопотал.

Пришлось доброй воспитательнице из Алексина писать статью в журнал, доказывая директрисам и воспитательницам, что я - не хулиган. Все это напомнило детство. Как все же эти идеологические принцессы рано почувствовали во мне неудобную для них "горошину"! А Чуковский поздравил: Если взрослые вас ругают за стихи для маленьких, значит, написали нечто хорошее. Беда, если не ругают.

Альбомы с серыми скучными фотографиями продолжали клеить и при Хрущеве, и при Брежневе. И даже я сам, посещая с писательскими бригадами райкомы и завкомы, получал их в подарок и не знал, что с ними, такими роскошными и нелепыми, делать.

"ЗНАЮ ТЫСЯЧУ БУКВ"

Несколько лет назад моя жена Наталья Ивановна съездила со мной в Мещовск и нарисовала дом Кулагина. На рисунке он такой же, каким был в моем детстве. А над ним парит собор Благовещения, который по тогдашней детской малости своей я на всегда видел из-за заборов, сараев, садовых деревьев. И даже из травы в саду , такая она была в детстве высокая.

Взрослые часто посматривали на черный циферблат собора (наручных часов ни у кого не было). Белые стрелки в черном кругу двигались чуть ли не под облаками. Я тоже смотрел на городские часы, но не понимал языка стрелок и цифр, хоть и умел бойко читать. Узнавать время по часам Благовещенского собора научился уже в доме Добровой.

Показываю жене дом, постаревший, но еще крепкий. Говорят, он построен еще при жизни Пушкина. С удивлением вижу на воротах номер 13. Вот тебе и на! А я всегда опасался тринадцати. А был так счастлив как раз в тринадцатом доме! Единственное исключение? Впрочем, как посмотреть. Ведь во флигеле умерла прабабушка. Я старался не думать о ее смерти. Может, потому ни разу не зашел во двор, пока жил по соседству, не заглянул на веранду, такую просторную, сколько игрушек ни притащишь, все равно останется место. Пробегая, даже не оглядывался на окна дома и флигеля. А когда приехал в Мещовск в восемнадцать лет, впервые после детства, сразу же - к кулагинскому дому. И во все остальные приезды - тоже.

В этот раз перед домом играли дети. Среди них две девочки постарше, гостьи из Москвы. Мещовцы - народ, если можно так выразиться, ненавязчиво практичный. Сколько выходцев из знакомых семей переселилось в столицу!

- Ты много букв знаешь? - спрашивали, перебивая друг дружку маленькие девочки из дома N 13. Это меня умилило. И я здесь учился читать! Как много теперь детей в доме и во флигеле! А были только мы с Димой и девочка из семьи Словиков.

- Я знаю четырнадцать букв! - Я - уже шестнадцать! А я - двадцать!

Тут подъехал на велосипеде улыбающийся мальчишка.

- А ты, Вася, - обратились грамотейки к велосипедисту, - сколько букв запомнил? Одну? Две?

Держась за руль, мальчишка гордо провозгласил: - Эх, вы! Четырнадцать! Двадцать! Я знаю тысячу букв! Даже не сосчитать, сколько я знаю букв!

Пожилая женщина, бывшая учительница, работавшая с моим двоюродном братом Шурой, преподавателем биологии, пригласила нас с Натальей Ивановной в дом. Не помню, сколько дверей во сколько квартир вело со двора, две, три, может, и все четыре. Из зала выгородили и эту клетушку с комнаткой и кухней. За столом - приветливый слепой дедушка в зеленых очках. В моем детстве у маленьких детей дедушек не было. Слышались голоса из соседних выгородок. Ничего общего с тем домом, где родился Дима. Кстати, он популярный в области агроном, Бывшая учительница совсем по-свойски спросила: "- Ну, как Дим Димыч? "

Пили кофе, беседовали, В детстве я про кофе только читал. Мама наливала почти такого же цвета овсяное толокно. И говорила, что оно очень полезно. Еще более полезным, но почему-то лишь для детей (хитрые взрослые его не пили) считался рыбий жир, Чуть зазевался за игрушками или за книгой, и тебе в рот уже вливают пахучее, противное зелье. Нынешние малыши не знают этого мученья. Я даже боялся слово "полезно". Значит, будет что-то ужасное, в лучшем случае - невкусное.

И все же, став взрослым, я посещал дома, похожие на кулагинский дом моего детства. Так, например, чувствовал себя как дома в музее Короленко в Полтаве. Или в Пскове, в доме легального марксиста Струве. Дом сохранил прежний вид потому, что там когда-то побывал Ленин. У Струве были две маленькие дочки. Они расхаживали по зале, заложив руки за спину. и подражали обоим марксистам, легальному и нелегальному. "Каутский!" - с вызовом произносила одна. "Бернштейн!" - ехидно отвечала другая. (Вот с чего иной раз начинаются революции и перевороты). Может, при советской власти эти комнаты тоже успели разбить на клетушки и лишь память о вожде революции позволила вновь навести здесь дореволюционный уют.

Теперь я понимаю, что раннее детство ухитрился, в сущности, прожить в старой России. А в детском саду и в доме Добровой началась новая.

1968, 1990, 1996

# Валентин Берестов

# Атавизм

# *Валентин Берестов*

# Атавизм

# Фантастическая юмореска

# *Рис. В.Колтунова*

Условимся, что дело происходит на далекой планете, чуть ли не в другой галактике. Условие легкое: читатель давно освоился со множеством миров, открытых фантастами, и вообразить их не составляет особого труда. Добавим, что цивилизация на планету занесена жителями Земли, — тоже вещь довольно обыкновенная.

Так вот. Обитателю далекой планеты стало скучно. Ему было просто нечем себя занять. Хотелось как-то убить время. То ли Он сидел в зале ожидания с видавшим виды чемоданом из кожи василиска, то ли дожидался приема в каком-нибудь межгалактическом управлении, то ли весь вечер топтался с гипербукетом квазинезабудок под неподвижным микроспутником — осветителем. Предположим последнее.

От нечего делать Он считал. Сначала красивых женщин в толпе. На первых порах их было немного. Но чем больше Она опаздывала, тем больше становилось красавиц. «Странная закономерность!» — подумал Он. Он считал и считал, пока не обнаружилось, что женщины, проходившие мимо него, прекрасны все до единой.

Тогда Он переключился на машины разных марок. Никто из водителей не догадывался, что на перекрестке происходит состязание. Выяснилось, сколько машин такой-то марки мчится туда, сколько обратно, сколько — с пассажирами, сколько — без. Какие машины по количеству на первом месте, какие на втором, какие на последнем, какой процент составляют они от общего числа.

Далее Он принялся читать с конца всевозможные вывески и световые рекламы. При этом ему вспомнилось детство.

Потом его заинтересовало, сколько имен существительных можно образовать из букв, составляющих имя его любимой. Затем Он проделал такую же операцию со своим собственным именем. В памяти возникли студенческие годы: лекции, семинары, диспуты…

И наконец, ему стало стыдно.

«Что же это я делаю? Почему я считаю и считаю вместо того, чтобы волноваться, беспокоиться, сходить с ума, может быть, даже ревновать, словом, вести себя так, как положено полноценному разумному существу? Откуда, — размышлял Он, — эта страсть ставить перед собой нелепые задачи и решать их с упорством маньяка? И в приемных, и в залах ожидания, и в концертных залах, и в ресторанах, и на заседаниях, не говоря уже про все виды путешествий, от вечернего моциона до космического рейса… А теперь уже и на любовном свидании!»

Он больше не видел ни женщин, ни машин, ни реклам. Он ломал голову над темными глубинами собственной психики. И чем дальше, тем глубже Он убеждался, что позорная страсть убивать время бессмысленными вычислениями сильнее его разума и воли, что она бессознательна, стихийна и что, пожалуй, ее надо рассматривать как проявление властного древнего инстинкта.

И тут его озарила догадка:

«Да это же атавизм! Возврат к далеким предкам! Ведь они были машинами, счетно-решающими устройствами, и не более того. Мы происходим от роботов, а не от живых существ! Голос крови, точнее машинного масла и железа!»

В самом деле. Тысячелетия назад с Земли на эту планету были запущены одни только автоматы, вычислительные устройства. Но они сумели постепенно пересоздать себя и превратились в живые существа.

«Увы! — горестно заключил Он. — В чем-то мы остались машинами. Отсюда этот дикий атавизм, эта противоестественная для живого, для смертного носителя разума способность, вернее потребность убивать время, делать что-то от нечего делать и считать, считать, считать… Все-таки есть нечто постыдное в том, что мы происходим от машины. То ли дело люди Земли! Какое счастье происходить от обезьяны! От живого, непосредственного, глубоко эмоционального существа!»

# Валентин Берестов

# Алло, Парнас!

# Валентин Берестов

# Алло, Парнас!

## \* \* \*

— Алло! Парнас! Парнас! Как меня слышите? Прием.

— Слышу вас хорошо. Какие распоряжения насчет эвакуации? Прием.

— График тот же. Через три часа всем быть на космодроме. Как поняли?

— Понял хорошо. Докладываю обстановку. Коллекции не влезают! Двенадцать отсеков загружены до предела. Прометей предлагает часть оборудования раздать ахейцам, а освободившееся место заполнить коллекциями. Твое мнение, шеф? Прием.

— Парнас! Парнас! Разрешаю отдать тринадцатый отсек под коллекции. Оборудование взорвать! Чтоб и следа не осталось! Поручить это дело Прометею. Как поняли? Прием.

— Понял очень хорошо. Оборудование взорвем. Меркурий просит разрешения подарить свой велосипед Гераклу.

— Повторяю. Никаких следов нашего пребывания на этой планете не останется. Меркурий — идиот. Неужели он не понимает, что велосипед нужен Гераклу в политических целях?

— Юпитер, ты сердишься. Значит, ты не прав.

— Это еще что за шуточки? Прием.

— Шеф, я Мельпомена. Скажи Аполлону, пусть подбросит на полчасика вертолет. Забыла отснять театр в Эпидавре.

— Шеф! Шеф! Чепе. Гименея схватили. Опять тащат на свадьбу.

— Это ты, Марс? Пальни из ракетницы. Пусть разбегутся. Мельпомена, никаких вертолетов! Раньше надо было думать. Аполлон! Куда смотришь? Девять лаборанток — и никакого порядка!

— Шеф, это опять Марс! У меня только красные ракеты. Они поймут это как сигнал к войне.

— Пора бы знать, что причины у войн социальные. При чем тут цвет ракеты? Действуй!

— Папочка, какую статую мы сейчас грузим! Помнишь, я позировала одному скульптору? И представь себе, в храме никого не было.

— Немедленно вернуть статую в храм! Она шедевр человека и принадлежит людям.

— Папочка, откуда такое почтение к храмам? Ты же атеист!

— Лучше бы вместо богини любви они придумали богиню уважения. Парнас! Парнас! Где Гименей? Где Прометей?

— Гименей уже на космодроме. Прометей у меня, получает на складе взрывчатку. Чтоб не пугать местных жителей, предлагаю ненужное оборудование сбросить в кратер Везувия и взорвать его там. Тогда это будет принято за нормальное извержение.

— Это ты, Вулкан? Придумано неплохо. Действуй!

— Шеф, я Аполлон. Может, все-таки оставим что-нибудь? На память? Пусть знают, что мы были здесь.

— Они превратят наши приборы в идолы, в фетиши. Они будут мазать наши телевизоры и вертолеты бычьей кровью и поклоняться им. Все взорвать!

— Может, зароем таблицы? Клио их уже приготовила. Они откопают их, когда займутся археологией, прочтут, когда откроют кибернетику, когда они станут такими, как мы.

— Понял тебя, Аполлон. Прежнее распоряжение остается в силе. У них странное свойство объяснять икс игреком. Где гарантия, что они не попытаются приписать нам все свои достижения? Между тем все, что они создали и создадут, было и будет делом их единственных рук. И нечего примешивать к этому сверхъестественные силы. Например, нас. Все взорвать!

— Докладывает Нептун. Океанографический отряд закончил работу. Батискаф затоплен. Отбываем на космодром.

— Докладывает Нептун. Геологи взяли последние керны. Буровые установки уничтожены. Минут через пятнадцать—двадцать отбываем на космодром.

— Причина задержки?

— Цербер погнался за куропаткой. Вот паршивец!

— Ребята, погодите, не сворачивайте рации. Я Аполлон. Шеф, скажи ребятам что-нибудь красивое.

— Что же сказать? Слушайте все! Поработали хорошо. Хорошо, говорю, поработали. От имени руководства экспедиции благодарю и поздравляю весь коллектив…

— Внимание! Чрезвычайное сообщение. Прометей задержан на космодроме. Пытался взорвать ракету.

— Он сошел с ума. Эскулап! Немедленно освидетельствовать этого безумца!

— Я Эскулап. Энцефалограмма хорошая. Отклонения от нормы незначительны. Он здоров.

— Дать его сюда! Прометей, я слушаю тебя. Прием.

— Шеф! Я хотел, чтобы мы остались на Земле и помогли людям. Чтобы они были счастливы.

— Мальчишка! Они не созрели для этого. Они придут к этому сами. Я верю в них. А вот ты, как я вижу, не веришь.

— Шеф, я остаюсь на Земле. Я отдам людям свои знания, свой огонь.

— К твоему сведению, они просили у нас все, что угодно, кроме знаний.

— А ты предлагал им знания?

— Мы прилетели исследовать, а не воспитывать. Ладно, марш в ракету! Договорим в пути.

— Я остаюсь с людьми.

— Они убьют тебя и все свалят на нас.

— Я остаюсь!

— Я не узнаю тебя, мой мальчик! Ты забыл родную планету. Ты чуть было не лишил нас возможности вернуться домой. Чем они тебя опоили? Что они о тобой сделали? Прием.

— А что они сделали с тобой? Почему ты скрыл от них, что мы не бессмертны? Почему позволил поклоняться нам, как божествам?

— Это было сделано исключительно в интересах безопасности сотрудников экспедиции. Повторяю: марш в ракету! Сейчас не время обсуждать эти вопросы!

— Я человек, и мой долг — остаться с людьми!

— Что ты сказал? Че-ло-век… Ты изменник! Эй, кто-нибудь, связать его и затолкать в ракету! Мы будем его судить.

— Я Фемида. Даю справку. Если он человек, то действие наших законов на него не распространяется. Мы не имеем права брать его с собой.

— Закон есть закон. Развяжите его. Пусть у нас будет хоть один провожающий.

— Я Фемида. Даю справку. На планетах с незрелыми цивилизациями присутствие местных жителей при запуске космического корабля воспрещается, ибо неизвестно, как они это воспримут, поймут и передадут потомкам.

— Понял тебя, Фемида. Отправьте его куда-нибудь. Скажем, на Кавказ.

— Я Марс. Можно дать ему револьвер?

— Я Фемида. Передача техники существам незрелых цивилизаций воспрещается, ибо неизвестно, в чьи руки она в конце концов попадет и какое найдет применение.

— Шеф, но ведь он один из нас?

— Увы, он уже один из них. Прощай, Прометей! Надеюсь, что…

— Внимание! Я Меркурий. Согласно графику начинаю ликвидацию средств связи. Все радиостанции Земли прекращают свою работу.

— Я шеф. Поправка. Временно прекращают. Гром и молния! Они уже породили Прометея!

# Валентин Берестов

# Ох, уж эти влюбленные!

# *Валентин Берестов*

# Ох, уж эти влюбленные!

# Фантастическая юмореска

# *Рис. В.Колтунова*

Вообразим, что телепатия и в самом деле существует. Представим себе, что природа ее раскрыта. Предположим, что ТПС (телепатическая связь) стала столь нее обычной, как и телефонная. Чтобы передать свои мысли на расстояние, вам нужно всего лишь приобрести ТПУ (телепатический усилитель) и знать ТПИ (телепатический индекс) вашего собеседника. ТПУ носят обычно в нагрудном кармане на манер авторучки, а ТПИ — формула вашей неповторимой личности — выводится из отпечатка большого пальца левой руки.

Допустим, все это происходит в наши дни, когда нас удивляет не столько фантастическое развитие науки, сколько то, что мы все меньше ему удивляемся.

Итак, купе поезда Владивосток — Москва. Пожилой снабженец и юный бородач геолог. Через полтора часа — Москва. Снабженец бреет и без того гладкие щеки. Геолог лежит на полке и, поглаживая бороду, глядит в потолок. Губы его беззвучно шевелятся.

— ТПС? — снабженец откладывает бритву.

— Да-да. Телепатия. Счастье, что она открыта!

— Счастье? — ворчит снабженец. — Все, кому не лень, лезут тебе в мозги. «Добудь то. Достань это. Не забыл ли того?» Да ну их! Я свой ТПУ отключил и в чемодан бросил, на самое дно. Тоже мне телепатия! Если б хоть мысли передавались! Как бы не так! Накладные! Заявления! Указания! Инструкции! Запросы! Тьфу! Справки, заявки всякие! Звон в башке стоит. Дудки! Пользуйтесь междугородным телефоном!

— ТПУ — в чемодан? — ужасается геолог. — Господи, да вы настройте его раз и навсегда на индекс любимого человека, а она пусть настроится на вашу волну. Вот и все. И разлука становится таким же устаревшим явлением, как феодализм. Разлуки нет! Вы все время вместе. Каждый час! Каждую минуту!

— Погодите, — говорит снабженец. — А разница во времени, часовые пояса? У вас на Сахалине двенадцать дня, у нее в Москве четыре утра, самый сон, а вы ее тормошите. Да она от вас с ума сойдет, с Крымского моста бросится, если не сообразит зашвырнуть оттуда ваш ТПУ!

— Что вы? В этой-то разнице вся и прелесть. В одиннадцать она спать ложится, а у нас семь утра. «Доброй ночи, милая!» — «Доброе утро, родной!» А дальше… Дальше она видит меня во сне. И, проснувшись, знает все, что со мной было. А я? Идешь по тайге и всем существом чувствуешь, как она во сне дышит, улыбается… Знаете, веткой иной раз боишься хрустнуть, чтобы ее не разбудить. Смешно, правда?

— А если вас, скажем, начальство разносит, медведь дерет или еще что-нибудь в этом роде?

— Стараешься вести себя так, чтобы она гордилась тобой. Напрягаешь всю волю, все силы… А говорят, наука убивает поэзию. Что вы! Да разве снилось такое волшебство каким-нибудь Тристану и Изольде? Только теперь благодаря науке самая-то поэзия и начинается!

— Да-а… Любовь… Сколько ж вы с ней не виделись?

— Семь месяцев. Если б не ТПС, убиться было б можно. От одного ожидания писем.

— Телепатия телепатией, а ведь пляшете, поди, когда вам письмо подают.

— Письмо? Полгода без писем обходимся. И не жалеем. У нас каждая минута — новость. Вот сейчас… Ах ты, глупенькая! Подружку встретила, заболталась. И все равно она со мной, все равно. Что говорят, не знаю, но чувствую, как волнуется, опоздать боится.

— Телеграмму отбили? — озабоченно спрашивает снабженец. — Номер поезда, номер вагона и все такое прочее?

— Номер поезда! — смеется геолог. — Да она уже и про вас знает! Я ей рассказал!

И он ласково проводит рукой по тому месту, где в кармашке, поближе к сердцу, лежит ТПУ, настроенный на волну любви.

— Семь месяцев непрерывной ТПС, — размышляет вслух его спутник. — А ну-ка, молодой человек, покажите мне ваш ТПУ.

Бородач вынимает из кармана голубой цилиндрик, неохотно передает собеседнику. Пока тот вертит цилиндрик в руках, молодой человек растерянно улыбается, как близорукий, у которого сняли очки:

— Вот я ее и не чувствую. Странно как-то. Пусто. Словно душу вынули.

— Вы разбираетесь в ТПУ? — спрашивает снабженец. — Нет? Ох, уж эти влюбленные! Ваш ТПУ не работает. И никогда не работал. Фабричный брак! И куда ОТК смотрел!